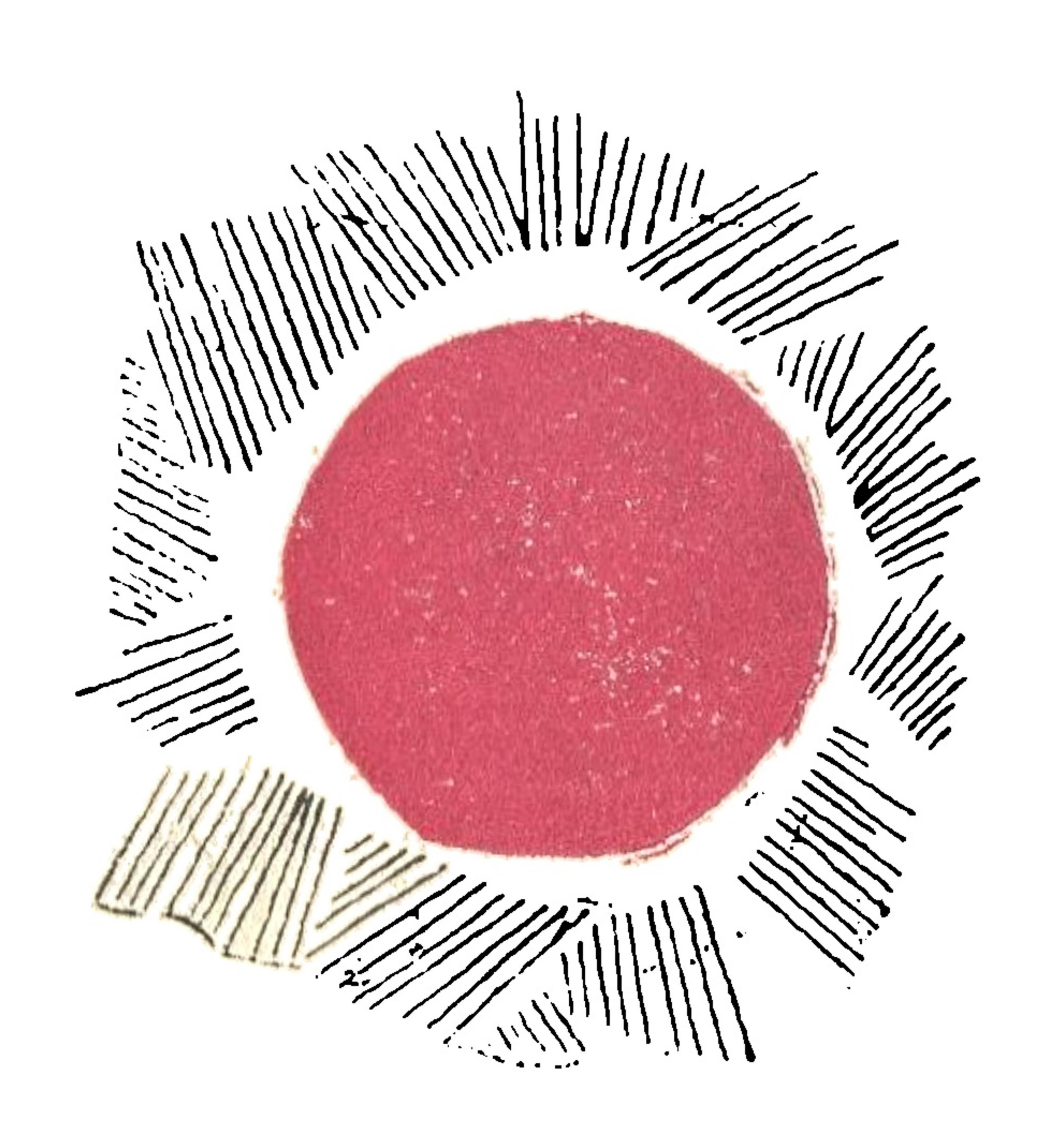

Белая
горница
Вл. Личутин

Вл. Личутин

Белая горница

Повесть и очерки



Северо-Западное книжное издательство

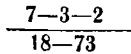
1973

Р2
Л 66

Владимир Личутин по профессии журналист. «Белая горница» — его первая книга. Основу ее составляет одноименная повесть, публиковавшаяся до этого в журнале «Север». В ней рассказывается о сложных взаимоотношениях в поморской деревне на Зимнем берегу Белого моря в конце двадцатых годов.

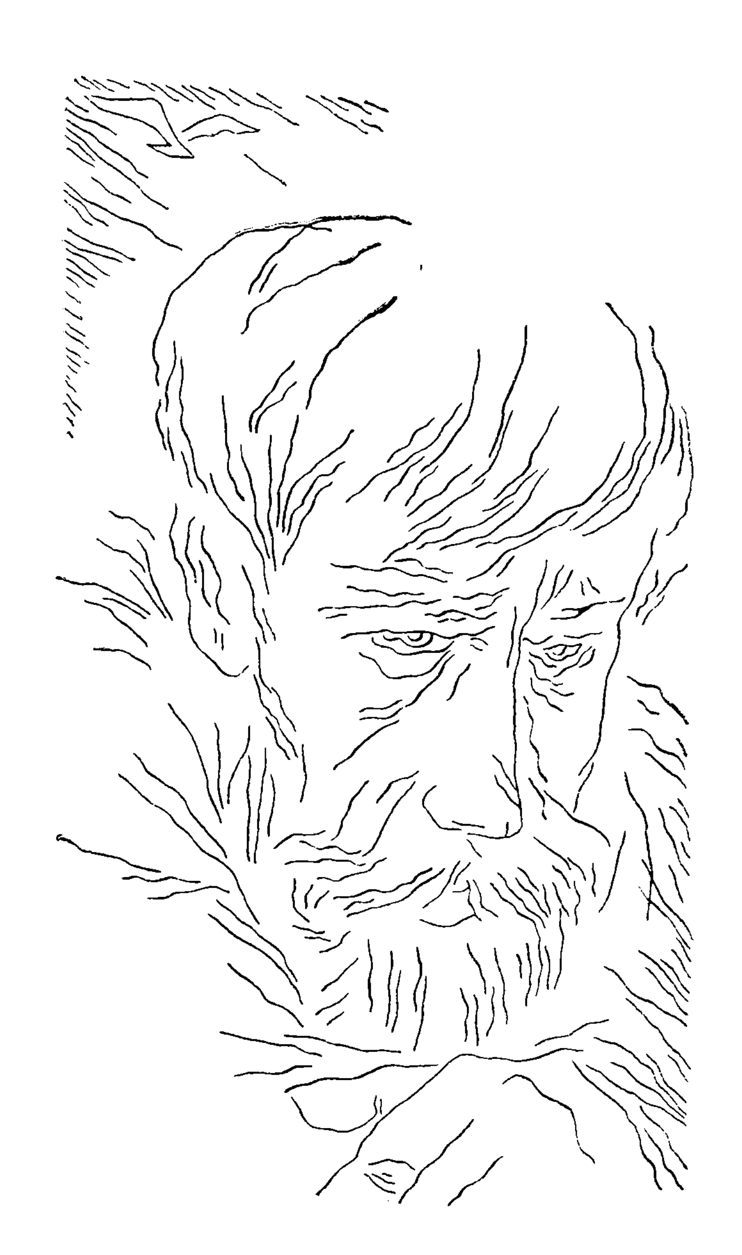
В сборник вошли также очерки о сегодняшней деревне, литературные портреты талантливых и самобытных людей Севера.

Художник Р. КЛИМОВ


7—3—2
18—73



Повесть



БЕЛАЯ ГОРНИЦА

1

Только на исходе третьих суток нашли, наконец, матерый лед и надежно устроились на ночевку. Юровщик Михаил Крень, хоть ты лопни, не мог уснуть: он сердито травил свою душу, олений волос от одеяла лез в рот, Мишка поминутно плевался и, видно, заплевал все, потому как текло уже по шее. Он еще долго ворочался в лодке, расталкивая ногами других и мучительно завидуя спящим: «Во-во, словно тюлени-утельги разлеглись — и не шевельнешься тут, к матери их».

Уснул он незаметно для себя: казалось, просто затворил на минутку глаза.

Тревожный шорох поднял его. Давножданным был этот шум: молчаливой хищной стаей довольно низко и споро летели вороны, только порывистый нутряной клекот, видимо, вожака, разрывал раннюю ледяную тишину, и тогда еще резче взмахивали сильные вороньи крылья.

Крень приподнялся резко, охнул от боли — волосы примерзли к одевальнице. Мгновение сонно озирался, потом вскочил на лодку, ладонь пригоршней пристроив ко лбу, вгляделся и сразу вспотел, когда рассмотрел, что вдали словно поленница дров рассыпана. Закричал, пиная ногой Миньку:

— Эй, плоскопятый, мать вас так, бока отлежали. Вставай, те нет говорят.

Рядом медленно разогнулся длинный Минька и также приставил ко лбу ладонь.

— Кожа есть! — крикнул он, наваливаясь всею тяжестью на четверых спящих.

Те, недовольные, заворочались, вместе с одевальницей покатились на один бок и опружили лодку, а когда встали, то обнаружилась среди них девчонка лет шестнадцати. И очень чисто смотрели ее глаза из-под низко надвинутой пыжиковой шапки.

А вороны нынче встали раненько: вслед за жиденьким рассветом залетали туда и обратно. Самые быстрые успели побывать среди тюленей, которые сейчас распластались на грубом льду и чесали жирные бока о мелкие льдинки-тартышки. Жировая короста отслаивалась кусками, покрывая грязью старые льды. На эти отбросы и мчались столь решительно черные стаи, чтобы, насытившись, лететь обратно на материк так же молчаливо, но только более грузно.

Зевать тут было некогда — это сразу понял Крень, когда повел в сторону ветра горбатым носом: коричневые глаза его налились влагой, словно поднесли юровщику стопку. Мишка, и без того не ахти какой любитель поговорить, сейчас окончательно умолк, только пыхтел над кладью, доставая багор, ружья, лямки. Потом вынырнул из совика в черном застиранном пиджаке, добела завалянном оленьей шерстью, заячью шапку сбил на затылок; что-то дерзкое и ухватистое было в его повадках.

— Ну, пошли, хозяин, —позвал Минька.

Его длинное тело окончательно разогнулось, маленькое лицо собралось складками, словно провели пятерней от затылка к носу, только черные брови были видны на Минькином лице.

Крень и тут ничего не сказал, а мягко ступил вперед, отметив боковым зрением, куда приткнулась Юлька Селиверстова, потому как этот факт был ему весьма не безразличен. Затем Мишка, сдерживая дыхание, прилег за ропаком, и все облегли его кругом. Тяжелым духом шибануло в нос, значит, зверь был совсем рядом: он кричал и стонал, и шум был похож на прибой, потому что накатывался волнами, и дышать было невозможно от такого смрада, но зверобоям он был даже сладостен. И, опьянившись запахом, вскочил Крень, крикнул непонятно и взволнованно и бросился в самую гущу стада, отрезая путь к отступлению. Огромный самец-лысун, вероятно, вожак, поднялся на коротком хвосте. Его жирный загривок сердито заколыхался, и трубный рык выкатился из мощного тела; в рубцах была серая в пятнах кожа — не кожа, а панцирь, и глаз один смотрел слепо. Видно, не раз уходил лысун от жестокой погони. Но Крень не усмотрел в азарте воинственной позы самца, ударил багром по самому но-

су обидным и коротким щелчком. Тюлень вздрогнул и завалился на спину.

— Ах ты, красавчик, сукин ты сын! — кричал в восторге юровщик, орудуя багром, и туши ложились под ноги.

Если зверя много, то и на душе радостно. Ошалело носились уцелевшие тюлени в поисках отдушины, и только когда одеревенели от жаркого боя плечи, и руки налились тяжестью, и лед окрасился кровью — столько зверя легло,— Мишка кончил бег, выхватил из ножен тесак и стал быстро шкерить туши. Уже голова пошла кругом и стало тошнить от пролитой крови, но работу эту Крень бросить не мог: «Ведь от удачи не бегают, удачу хватают за горло, а здесь ишь как подфартило. Не зря старики сказывали, что зверь на характер идет».

Потом Юльку отослали варить «хлёбово», а мужики, впрягшись в лямки со шкурами, стаскивали юрово к лодке. И надо сказать, каторжная эта работа — бить зверя. В теле жилочки нет не измотанной, руки по локоть в крови, одежду хоть выжимай, так она взмокла от пота и морского рассола. А когда кончится день и угаснет за ближними ропаками — иссякнет телесный жар, заструится по жилам противный холод, разрывая надвое душу. А кругом, на десятки верст, — льды, беспросветная ночь, глушь, стынь...

Юлька из маленьких щепок развела жидкий огонек: дерево здесь — золото. Оно — сугрева и спасение. На неярком костерке сварила девка кулеш из пшенки с говядиной; ужин в общем-то сытный, если к нему побольше кусать ситного. Но зверобои ели лениво, больше отряхивая на малицы. В такие суматошные времена, когда зверь валом валит, для помора нет еды: он три дня может сухой корочкой жить. И тогда лихорадка азарта ало красит щеки, и на висках появляются мертвые землистые тени.

Вот почему с большим трудом проглотил Крень ложку кулеша. Пшенка застряла в горле комом, потом с трудом докатилась до желудка. Нервный пыл еще не покинул Мишкину душу. Полежав с минуту у огня, Крень почувствовал, как подкралась к нему трехдневная усталость и сжала сначала горло, разодрала-раздвинула рот в жаркой зевоте, так что брызнули слезы.

Поднимаясь, заметил Юлькин любопытный взгляд. И внезапную ласковость Крень почувствовал к ней, вернее, это была жалость: совсем еще девка, и силы у нее, как у молодой оленихи-сырицы, вот продрогнет и сломается разом.

— Ты ешь, Юлька, на мой рот не гляди. Узкий он на еду. Поешь сала, от него в животе тепло.

— Работой сыта,— ответила Юлька.

Ей было зябко и неуютно. Разговор заводить не хотелось, даже языком шевелить тяжело. И Креню говорить было лень. Он постоял в лодке, послюнявил палец — было полнейшее затишье, и только легкое касанье воздуха с моря означало, что ветер пошел на полуночник.

Юровщик подумал, что такая теплынь, да посередке зимы, не к добру: как бы не пал шторм. Но сон пересилил тревожные мысли. Засыпая, еще слышал глуховатый голос Миньки:

— Притомился хозяин. Натуристый он человек, власти бы ему поболе.

— Опоздал, кажись,— ответил кто-то.

— Старик знал, куда посылать. Ишь, зверя навалено, как из пропасти...

— А бают, что старый Крень с ведьмой на островах любился и от нее корень приворотный имеет.

— А и то правда,— опять встрял в разговор Минька.— Мне сказывали старики, что на Новой Земле русалка похаживала. И был на промыслу Ондрей с Золотицы, мужик-от справный и на литаре от скуки играл. Вот и запохаживала русалка и тискать Ондрея стала. Однове парень ухватил ее, и стали они жить, как мужик с бабой, и ребятеночек у них появился. Потом весна настала, и домой они запоходили. Тогда кормщик посоветовал Ондрею: мол, ты, паря, виду не оказывай, а за скалу прячься, там мы тебя и подберем. А русалка-то, видать, палась умом, что парень на омман пойти может. В избе его поджидат, а Ондрея нет. Выскочила она, значитсе, на берег с робеночком в руках, а корапь уже в море. Она робеночка-то руками дерг и одну половинку свись в море. Хотела, видно, на палубу закинуть, да промашку дала. Одна кровиночка, крохотно пятонышко, на досках осталось, и стало корапь

пружить-обворачивать. А кормщик, дед мой двоюродный, Григорий Яковлевич, проходной мужчина, смекнул, что у девки ведьмины чары, и стесанул пятонышко топором. И сразу корапь выпрямило, и волна на утишку пошла, а то спасу не было...

Тут неожиданно заскрежетало за ближними ропаками, ухнуло, видно, сжало льдину, и разрезала ее трещина. Что-то тоненько засвистело, ледяная крупка ударила в лицо Юльке, и она еще глубже упряталась в совик.

— А до тебя, Миней Григорьевич, видать, не палась такая девка, вот и ходишь в бобылях?— подзадорили рассказчика мужики и, знать, задели за больное, потому что Минька грустно сказал:

— Такую бы девку не упустил. Не-е-е...

Тут полуночник вдруг рванул с такой силой, что сразу загасил и костер, и звезды. Стало трудно дышать, ветер забил горло. Минька, почувствовав беду, бросился к лодке, откинул в сторону шкуры и закричал в самое ухо Креня:

— Хозяин, пропадаем!

Заряд ветра быстро привел Креня в чувство. Юровщик лихорадочно размышлял: раз ветер с океана, скоро начнет крушить льды, но правее, в полверсте, есть несяки — огромные горы льда, которые осели на отмели, и ничто не сможет сдвинуть их — там и спасение.

Двоюродник Федор Таранин, обхватив Креня могучими руками, кричал в ухо:

— Бросать зверя надо, а то все погинем.

— Врешь,— зло ответил юровщик.— Я те дам, выбросим. Ишь, чего удумал.

Столько лет ждал Крень такого случая, чтобы разом отдельно от отца встать на ноги, а тут балаболка пустая что советует.

— Пальцем не дам зверя тронуть.

Михаил резким тычком в лицо повалил Федора. Уж на что крепок был тот, но перед Кренем грудь не поширил, смолчал, кулаки вперед не пустил. И остальные сделали вид, что ничего не случилось, увязывали поклажу. Крень встал в скулах карбаса, Юлька впряглась в корму, но юровщик жесткой рукой схватил ее за локоть и притянул к себе.

— За лямку держись, не потеряйся. Побегли к несякам.

Сначала карбас рванули лихо, полозья-крени вроде и не липли к запорошенному снегом льду, но ветер быстро умерил прыть, заставил споткнуться, осесть на передышку. Так понятливый конь трогает тяжело груженный воз, но, сделав несколько усердных шагов, останавливается и виновато смотрит на хозяина.

— Поднажмем, братцы!— просительно прокричал Крень.— Ну что разлеглись, как коровы? — и пнул ногой двоюродника.— Погибели захотели?

— Сдохнем с поклажей, бросать зверя надо,— еще упрямей отозвался Федор, но, влекомый страшной Креневой силой, был буквально поднят на ноги и невольно побежал вместе со всеми.

До несяков оставалось шагов двести. Вон они уже виднеются сквозь странные желтые вспышки пурги. И тут могучие руки заподнимали лед под ногами, стало трудно бежать. Крень, упираясь из последних сил, подхватил карбас: жилы на шее набухли, ребра прогнулись под лямкой, он хрипел и мучительно стонал, как загнанный конь. И вдруг Миныка закричал, раскидывая руки. Едва Крень, вынырнув из лямки, прыгнул вперед, подхватив Юльку, как огромный ледяной гриб поднял вверх лодку и людей. На Мишкиных глазах все исчезло в волнах, потом странная сила еще раз показала лодку уже вверх килем. Почти рядом вынырнула голова Минея, он почему-то не кричал, не тянул руку за помощью и был накрыт волной.

Крень, оцепенелый и беспамятный, держал на руках Юльку, потом опустился с нею в ледяную нишу, куда не доставал ветер. «Здесь и погибель наша», — подумал он отрешенно. Михаил обнял Юльку, та не сопротивлялась и не подавала голоса — сомлела, наверное,— ладонью потрогал ее лоб и ощутил жар.

Под утро вместе с рассветом пурга кончилась. Крень, пересилив сон, побрел осторожно, рискуя свалиться в море. Кругом плескалась совершенно спокойная вода, еще черная в сумерках. Небо, сероватое в морозной колкой пыли, было, однако, чисто от туч. По закрайкам оно покрылось пронзительной зеленью, и редкие нити багровой зари прошили ее насквозь. А там, где свинцовые волны касались неба и растекались

в нем, они отсвечивали легкой желтизной нового утра. И во всем этом была какая-то жестокая красота, красота надменная и холодная, и великое спокойствие из небесной выси опускалось на мир, сменяя столь недавнюю суматоху. И было похоже море на громадное кладбище.

В южной части своей ледяная гора круто обрывалась в море. Крень вгляделся вдаль и едва различил синюю кромку берега, а может, ему показалось это. Но так или иначе, нужно было ждать побережника, чтобы ветер погнал льды к материку, а там, что бог даст.

Цепляясь за серые наросты льда, юровщик с большим трудом протиснул тело вдоль южной кромки и очутился на крошечной площадке, облизанной волной. И здесь увидел Крень тюленя, быть может, из его промысла выброшенного на несяк недавним штормом. Человек живет маленькими радостями и по своему хотению эти радости может половинить или, наоборот, доводить до размеров громадных— все зависит от состояния и характера человеческого. Крень нашел тюленя, и счастье его было безгранично: находка означала жизнь. Он быстро освежевал зверя, разрезал тушу на куски, и при виде мяса ему вдруг вспомнилась Юлька. Орудуя ножом, Крень уже соображал, как вернется сейчас, завернет девку в шкуру, накормит мясом. Эта мысль заставила его поспешить, и потому, огибая несяк, он поскользнулся, и неумолимая сила потянула его в море. Мишка выгнулся всем телом, спиной к волне, а затем до хруста в костях потянулся и боком упал на лед. Но шкуру с мясом так и не выпустил.

Юлька еще не приходила в себя: лицо посинело, голубые жилки округлились на веках, вдовьи морщинки легли у плотно сжатых губ. Одна нога ее была странно согнута, и это смутило мужика. Он пробежал осторожно пальцами по ноге и принялся стаскивать бахилу. Но, видимо, захолодевшая кожа, давно не знавшая ворвани, съежилась, и потому бахила жестко и больно слезала с ноги. Юлька застонала, но в сознание не пришла. Крень выпрямил ногу, перелома не обнаружил, укутал девчонку в шкуру, наколол лед и сделал подобие укрытия, так что Юлька очутилась в прозрачной нише. А сам привалился рядом, но засыпать не стал: Крень боялся смерти.

Жуткие видения стали навещать его. В какую-то минуту посетил дедко Евлампий. Маленький старик светло уставился на внука: наверное, было жарко, легкие кудерьки запотели и сбились к вискам, на смуглой плеши лежали крупные капли влаги. Евлампий держал в руках удочку и два ельца: «Клев на уду. Каково разживаемсе?» — «Да кака нынче рыба»,— ответил Мишка, накрывая коленом ведро окуней, а какие они тут были — ядренящие, один к одному, как слитки серебра. Потоптался дедко Евлампий, все, хитрый, приметил, но смолчал и пошел на деревню, маленький, с острыми лопатками. Что-то жалостливое щекотнуло в горле, выхватил Мишка из ведра, ей-богу, самых крупных окуней и крикнул вдогонку: «Деда, на рыбки». Но Евлампий, криво ступая старенькими бахильцами, не оглянулся даже.

Тут шевельнулась Юлька, и Крень очнулся. Рука затекла, неловко подвернувшись под голову. И только успел подумать юровщик, что не к добру видение,— знать, и помирать здесь придется,— как Семен Малыгин вдруг присел рядом и растянул гармонику. Как жарко играл Сенька Малыгин: бабы сохли по парню, висли на широкой груди, и не одна сгорела ненароком. «Но погоди, Сенька, ты же умер на моей свадьбе, на утро второго дня сковырнулся под лавку вместе с гармошкой. И Пашеньку ты уволок, за тобой ушла. Не плачь, Пашенька, и посейчас люба мне, ночами душа стонет, и нету моей вины в твоей погибели. Ну скажи, Пашенька, хоть слово, не казни меня, отпусти...»

Очнулся Михаил от того тяжелого озноба, который сдавливает грудь железными обручами, когда сил нет никаких переносить холод. Тело безудержно билось по льду, и ничем нельзя было остановить больную дрожь. Крень еще с закрытыми глазами пошарил сбоку, но рука наткнулась на лед. Юлька сидела в стороне, сжавшись в комок, шкура утельги валялась у ног. Сухие глаза враждебно оттолкнули Креня. Ничего не сказала Юлька, но поползла на коленях в сторону, когда Мишка попробовал приблизиться к ней.

— Дрянь паршивая, не я бы, дак в море подохла! — заорал он, сжимая кулаки и подаваясь всем телом вперед, но вдруг сник и пошел в дальний конец неся-

ков, и долго сидел там неподвижно, своей молчаливостью пугая Юльку.

Она уже окончательно пришла в себя, словно выплыла из глубокого омута. Холод брал свое, лихорадка, казалось, вытравила из тела остатки тепла, и полуживой девчонке стало так страшно, что крепиться больше она не смогла и завыла громко, по-бабьи:

— Не хо-чу по-ми-рать, та-туш-ка, по-ми-рать не хо-чу.

Юлька давилась слезами, и этот полубезумный крик разбудил душу Креня.

— Не реви, дура. Без тебя тошно,— сказал Крень, пряча в сторону лицо.

А сам, однако, тем временем вынул из ножен тесак и стал резать тюленину на длинные полоски, и пахнущее рыбой мясо заталкивать Юльке в рот. Та сначала упиралась, совсем по-детски отбиваясь руками, но потом послушно глотнула раз, другой, почти не жуя, а Крень гладил ее по голове и ласково приговаривал:

— Ну чего разнылась. Ждали на оленях, а мы доползем на коленях. Через пару дней в Вазице будем.

И, уже засыпая, Юлька бормотала доверчиво:

— Батюшка приснился. Будто идем мы близ Вазицы вечером, а в снегу покойничек лежит. Я бате кричу, мол, подбери человека. Татушка только принагнулся, покойничек на спину ему как скочит и давай хворостиной наезживать. Лупит и лупит. Я гляжу, батюшки мои, а это и не упокойничек вовсе, а королевич, и корона у его из золота на голове.

Юлька от длинного разговора совсем ослабла, голубые веки прикрыли глаза, и обильные, но уже спокойные слезы покатились по зачернелым от голода и ветра щекам, бессильные слезы усталости, которым не было конца. Крень не мог спокойно переносить бабьи слезы, а потому стал вокруг Юльки нагромождать льды.

— Ну вот и завитерье, пушкой не прошибить.

А сам подумал: «Тут и могилу сыскали, не иначе». Потом привалился рядом, дыханием обогревая Юльку, и вдруг окончательно расчувствовался. Видно, злосчастья и ожидание гибели сокращают сроки знакомства, и перед лицом смерти, как перед величайшим святым, исповедуются люди в самых сокровенных своих прегрешениях и чувствах.

— Ты небось не знаешь, какая у меня женка была? Нет, какая у меня женка была! — Веки у Креня мучительно защипало, помимо воли налились влагой глаза, и стал он в эту минуту совсем плохо видеть.— Пашенька была голубица чистой воды, а работяща — мужику не угнаться, как на веслах пойдет.

Крень говорил медленно, запинаясь на каждом слове и удивляясь своей нежности, ибо слова он вытаскивал из самых дальних, забытых тайников души.

А потом пришла шестая ночь без ветра и снега. Опять яркая звездная пыль сыпалась за дальние ропаки. И когда особенно крупная звезда вдруг срывалась с насиженного места, Крень, провожая ее взглядом, вдруг вздрагивал зябко и тут понимал, что дремлет. Пошел снег, очень ласковый в темноте: он падал на лицо нежно и щекотно. Крень нагнулся к беспамятной Юльке.

— Не помирай, а? Вернемся домой, сватов нашлю.

Под утро легкая поземка сменилась пургой: побережник — ветер с океана — навалился круто и яростно, и не было от него спасения. Так и лежали двое посреди вьюги, обнявшись, чтобы не унесло. Но пурга продолжалась часа три, а когда очистилось небо, вокруг несяков легло плотное покрывало льда.

— Юлька, спасение наше, Юлька,— затормошил девку Михаил.

Но ответа не дождался. А потому, завернув ее плотнее в шкуру, приспособил вязаный кушак и поволок туда, где, по его разумению, должен быть ближний берег.

2

«...Гражданин села Вазица Селиверстов П. И. ведет агитацию против выхода на зверобойку, крича: «У вас ничего не получится, и ничего вы не понимаете». Чем было поколеблено горячее желание промысловиков в еще большей добыче зверя. Этим самым подорвано доверие и к районным властям, которых он огульно ругал шкурниками и кулаками. Просто удивительно, почему Селиверстов П. И. и его проступки оставлены без внимания». «Блоха».

...Гражданин села Вазица Парамон Иванович Селиверстов, по прозвищу Петенбург, пил чай в доме Федора Креня и сам про себя читал в районной газете.

— Слышь-ко, Крень, не иначе мне пора сухари сушить, только Юлька где-то запропастилась и собрать меня некому. А Мишукову я зубы выколочу, чтобы кусать нечем было.

Желтое больное лицо Петенбурга сжалось в мучительной гримасе. Он порывисто схватил стакан и стал пить большими глотками, чтобы утишить нутряную боль, потом разом обмяк,— видимо, полегчало, а открыв глаза, вдруг явил Креню наивную голубизну, лишь едва притушенную постоянной болью.

— Вот знаешь, поел бы сейчас кисленького абы солоненького, чего душа желает, да желудок не пускает. Знать, помру скоро.

Хозяин молчал. Он цедил меж длинных пальцев ухоженную бороду. По большому, чуть зажелтевшему лбу, уходящему в лысину, пробежали солнечные блики. Волосы ровно курчавились вокруг плеши. Хозяин пил уже который стакан, по-бабьи обхватив блюдце и экономно кусая грудку сахара.

— По третьему разу пью нынче, брюхо — во! — пробарабанил по ситцевой рубахе твердым пальцем.

Печальный тон Петенбурга он вроде бы упустил, потому как глаза глядели холодно и допрашивающе. Перевернул стакан, огрызок положил на блюдце.

— Залюбить не смог, Парамон Иваныч, оттого и сохнуть начал. А ты позволь, что тебе душа желат.

И вышло у Креня так: не то советует, не то смеется над человеком.

Но Петенбург рассудил по-своему:

— Пеший конному не товарищ, здоровый больного не поймет. С Мишкой, полагаю, случилось что. Вон артельные возвернулись, едва от пурги ушли, а от Мишки ни слуху ни духу.

Парамон поднялся и обнаружил вдруг рост — и немалый, потому что едва не задел головой матицу. И Федор поспешил встать, утеряв обычную холодность: видно, слова о сыне смутили его.

— Ты, Парамоша, посиди. От стола-то не уходят. По махонькой трахнем, поговорим. Эй, Пелагея, где ты там?

Появилась жена, рыхлая, в застиранном переднике. Встала на пороге, не выронив ни слова.

— Водки тащи...

Но Парамон низко откланялся:

— Благодарствую за угощеньице. К нам гостите.

И вышел, едва не стукнувшись о притолоку. Федор, небольшой и сухонький, стоял у окна и наблюдал, как шел Парамон через улицу, как повернул к своей избе, осыпая снег пришивными голяшками.

* * *

Дом Федора Креня с краю деревни, предпоследний на берегу речки Вазицы, которая в половодье характер имеет неуемный, можно сказать, сварливый, но летом становится столь тщедушной, что при желании деревенских коров они могли бы ее высушить за один водопой.

Дом уже стар, рублен из вековой лиственницы еще дедом Евлампием. Дерево от многих лет не гниет, а от ветров и дождей лишь наливается коричневой угрюмостью, и в этих слоистых трещинах, что разбежались по бревнам и в которые можно спокойно уместить ладонь, видна неистребимая чугунная крепость. Ставлена изба высоко и, по правде сказать, не очень казиста видом, словно хозяин норовил забраться повыше к небу, да на приличный чердак уже лесу не хватило, оттого и охлупень низко навис над маленькими оконцами светлицы. Впрочем, и в обличье дома проявился характер Евлампия Креня.

Евлампий на деревне ходил в чудаках. Сын Федор видом-то весь в отца: те же серые кудряшки вокруг рано облысевшей головы и серые с пронзительной искрой глаза. В свое время Евлампий из щей пустоварных не выбивался; бедней его, пожалуй, только бобылка Настя жила, что обитала в старой бане. И не оттого Евлампий жил худо, что работы гнушался или семья объедала: с женой их было трое, работой он особенно не брезговал, но губила его страсть к придумкам. За короткое время промотал Евлампий отцовы денежки. Года три вязал огромное сетное полотно, соорудил невод, чтобы перекрыть изрядный кусок моря. На тоне́ сидеть уныло: «когда-то семга забежит — темный погреб». Вот и решил Крень разбогатеть одним махом. Поплыл он на карбасе ставить невод вместе с женой — дородная была женщина Каля,

раза в полтора пошире Евлампия. Чтобы не утопить кувалду в море, привязал за длинную веревку к шее, стал колья бить и опрокинулся в волны. Хорошо, женка внимательно наблюдала, вытащила мужа за ноги. Вазица в полном сборе на берегу зевала: как стояли, так и пали со смеху. Но Евлампий нимало не смутился: тихую погоду поймал и невод выставил. Ходит по берегу, руки потирает и хвастает: «Ну, тепере я с рыбой». А ночью пал штормина: море поседело, и берег качался от волны. Через три дня собирал Евлампий по берегу одну рванину.

Но недолго унывал мужик. Задумал строить новомодный корабль. Долго рассчитывал колеса, и получились они два метра диаметром. Потом лопасти на бумаге начертил и решил, что если каждый ковшик будет черпать по ведру воды да два колеса соединить воедино, а крутить заставить двух мужиков, то сможет Евлампий перевозить грузы в Архангельск и тут обязательно разбогатеет. Колеса Крень соорудил, передачу сделал, смазал дегтем, чтобы не скрипела, нанял двух мужиков. Как по реке плыли, ходко бежал карбас. Евлампий на корме сидит и покрикивает: «А ну, братцы, поднажми!» Но только в море выехали, подняла лодку волна, лопасти сразу с корнем вырвало, а весел с собой не захватили. Так едва бедолаг и спасли.

Потом построил Евлампий механическую ножную мельницу и молоть зерно начал, но попала пальтюха в жернов, и сломал он руку. С тех пор изобретать перестал, а прозвище Крень, что значит — сильный человек, прилепилось и осталось на роду.

Видно, от матери Кали достался Федору властный характер, а голова и тело перешли отцовы. Сманив однажды приятелей, ушел он на Новую Землю, наобещав напарникам золотые горы. Промысел, действительно, выпал удачный, но из пяти промышленников только Федор уцелел от цинги и, забрав мягкую рухлядь и моржовую кость, выгреб на веслах морем до Малых Кармакул. И когда сошел на берег, то мало был похож на человека, так исхудал и оборвался. Потом вернулся Федор в Вазицу, перед этим распродав товар в Архангельске. Заказал лучшему койденскому корабельщику Малыгину сшить два ёла, нагрузил их олениным мясом и отплыл в Варде. Оттуда привез треску,

ружья и часы в полированных деревянных коробках. Часы в Вазице всем пришлись по душе, и после второго рейса затикали в каждой поморской семье.

Появился достаток, и Федор Крень заблажил. Что-то мягкое, отцовское, растворилось, и стала его душа постоянно колобродить. Однажды со зла набил старуху Третьякову, дальнюю родственницу. После по пьянке как-то утром обнаружил себя в кровати ее дочери. Вечером Крень послал к Третьяковым сватов, а через день была свадьба. Федор торопился, словно поджидала его кончина. На свадьбе пил много, а когда очнулся, родилась к жене постоянная ненависть.

Через неделю Федор покинул Пелагею и ушел юровщиком на Моржовец. Обычно на острове зимовали до пятнадцатого марта. От каменного пятака до материка тридцать верст, и каждая бежит по кругу, течения завиваются спиралями, и за долгие годы не один парусник остался на дне. Промышленники, как пришло время, покинули Моржовец, а Крень остался, чтобы узнать, сколь долго жируют в этих местах тюлени. Но случилось так, что лодку смяло льдом. В Вазице к осени не одну свадьбу справили, первая пороша выпала, а Федора нет. Пелагея поплакала, панихиду отслужила, не успев разговеться с молодым мужем.

Но однажды бежит Феклуха, соседка, и кричит на всю улицу:

— Пелагея, мужика встреть. Федяша-то приехал.

И дальше поспешила, только сарафан зарябил. Пелагея стала белее морской пены, ойкнула тихонечко, потом завыла. Сразу память отшибло: заметалась от окна к порогу, не зная за что ухватиться да за что приняться. Потом вывесилась из окна и вослед кричит:

— Феклуха, мертвые с погосту не возвращаются.

И только тут дошло, что не шутит Феклуха. Простоволосая Пелагея вывернулась из дверей, на берег спешит, а там народу, как морошки в урожайный год.

Федор отощал, рубаха придрана, ребра видать. Лодочку из воды тянет: оказывается сшил на Моржовце из тюленьих шкур посудину, ремнями кожаными сшил, и в Вазицу прибыл. С тех пор уже сорок лет минуло, шкуры все потрескались, ремни поиздрябли, но лодочка все на повети лежит. Памятна она Креню. Так и говорит иногда «по пьяной лавочке» жене: «Коли и

мне помирать суждено, а сто лет не разменять, так ты меня в эту посудину уложи. На ней и в ад поплыву».

* *

Петенбург ушел от стола, так и не ополовинив стакашек, потому Крень у штофика с водкой сидел один, а какое тут питье одному — в рот не лезет. Но стопку все-таки проглотил—фу, какая гадость,— корочкой хлебной занюхал. Пелагея сидела пригорюнившись, морщинистые руки упрятав в домотканый подол. Хоть и в достатке жил Крень, но старуху на хорошие одежды не поваживал: «И так сойдет, ничто и нать, не графиня». Пелагея с мужем говорить не привыкла: как поженились, так все молчком, как две кикиморы. У нее заботы вились вокруг сына Мишеньки, которого хоть бы господь уберег, одинакий он. И потому часто бросала взгляд на часы, словно сын должен появиться с минуты на минуту, и глаза ее часто полнились слезами, мелкими и быстро просыхающими. Ведь в старости люди страдают часто и оттого как-то по-детски.

Федор зло глядел на жену. В последние дни, как запропастился сын, она была особенно ненавистна. Его раздражали и ее жирные волосы, и неряшливый фартук, и обрезанные катанцы в постоянном назьме. О Мишке он думал изредка, только при взгляде на жену, хотя легкая пустота в душе чувствовалась постоянно. Когда-то эта нелюбовь была перенесена с жены на сына, и пересилить себя Федор не мог.

Он налил водки, крякнул, выпил и не успел еще передохнуть и расчувствовать внутренний жар, как снова закричал:

— Чего ращеперилась, дура. Водки, говорю, тащи!

И пока жена бродила на кухню, сидел в горнице и водил босыми ногами по выскобленному некрашеному полу.

Пол был гордостью Пелагеи. К мытью его она готовилась, как к празднику, сама откаливала на медленном огне дресву — мелкозернистый камень и веникголик подыскивала и отпаривала до той мягкости, когда прут не ломается, но и не очень жидок. Мыла, подоткнув платье и обнажив толстые ноги в синих венах: последнее время с ногами у нее что-то не ладилось, да

и «внагинку» бы уж нельзя работать, но привычку свою Пелагея не бросала. Она терла пол и руками, и сильной еще ногой, выскабливая ножом из щелей каждую сорину и не однажды споласкивая пол сначала кипятком, а потом холодной водой. И жар ее рук долго хранился в широких половицах, белых, как льняная скатерть. По такому полу ходить было очень приятно и чуточку боязно. Но Крень, когда заходили гости — а они бывали частенько — всегда широким движением руки приглашал проходить: «Пол чё, пол не душа, можно и помыть». И когда сапоги гостя оставляли жирный след, Федор открыто улыбался, а Пелагея не могла удержаться от слез и быстро исчезала на кухне. И так каждый раз все повторялось сызнова: Пелагея мыла, гости грязнили, хотя сам Крень, «упаси боже, чтобы прошел в горницу в сапожищах».

Пока Пелагея собирала на кухне обед — «ведь горе не горе, а время приспело и ести нать», — старый Крень от непонятной тоски царапал заледенелое стекло толстым желтым ногтем. Под окном лежала мертвая Вазица: до дна промерзла, и рыба-то, наверное, лежит на дне серебряными сосульками. Совсем не стало в реке воды, как будто в прорву какую ушла. А лет тридцать тому назад, ну сорок от силы, еще на памяти Федора, речку не обмерить было молодецким обхватом, да и не каждый на деревне рисковал переплыть ее саженками.

А однажды монашенки-беспоповки, вернее, старые девы, ехали из своих Келий на трех лодках. Дело было весеннее и о ту пору зябкое по этим местам, и только дуралей какой или умалишенный стал бы купаться в вешней воде. Еще березы стояли нагие и не оделись листом.

Увидел Федор из окна — вот так же тогда сидел, — что плывут староверки, выскочил из ворот, на ходу сапоги смазные стянул, даже не присев, и с разбегу, охнув, плюхнулся животом в реку. И поплыл неуклюже, но сильно, и такой шум навел, словно табун лошадей промчался. Манатейная монахиня Агния, злая старуха, у баб она вроде наставницы, весло сразу на мужика подняла и норовит его по лбу изо всей силы треснуть. Уж вроде стара, но сурова, и силы — на доброго мужика: хорошо, промахнулась, а то бы раскроила Федору череп.

— Иди охальник отседова... Э-э-э, чё пасть щеришь. Бесстыжа твоя харя.

А Крень не испугался, от весла в сторону ушел, за корму ухватился и давай раскачивать лодку. И такой тут шум пошел, толкотня. Бабы разорались не столько от страха, сколько от разновеселья — все хоть жизнь постную разбавили, теперь будет что друг дружке рассказать.

— Не я, Крень, если не потоплю всю шушеру. Раз мужики на вас не зарятся, пусть хоть река примат.

И в какой-то миг поймал Федор печальный взгляд еще совсем молодых глаз. Белолицая девица с маленьким ртом протяжно смотрит и молчит. Смутил Креня этот взгляд, хохотнул на прощанье и поплыл к берегу.

Но с того дня по туманным утрам летела гусиным пером легкая лодочка к монашеским кельям. И еще долго за поворотом можно было слышать серебряное пение воды. Возвращался Федор в Вазицу с мягким лицом. В эти дни в глаза Пелагее не смотрел, а она молчала.

* *

Пожалуй, в Вазице нынче и не упомнят, а может, кто и виду не подает, что знает, как не однажды летала лодочка Креня по росной реке. Был он к тому времени в годах, к сорока придвинулось, но вот сошел с ума. До Келий Федор обычно не доезжал, прятал посудину в кустах и распаханными полями добирался до монашеского общежития. Один длинный деревянный дом, часовенка да дюжина крестов — все это тонуло в душистом иван-чае, багульнике и смородине. А кругом тишина: обрезать бритвой волосину — слышно будет. Где-то вдалеке, наверное, у Белого озера, вздрагивала кукушка и тут же покорялась тишине. Мягкий туман, сиренево отсвечивая, как дым от потайного костра, уплывал в таежный бурелом.

Каждый раз, прежде чем крикнуть куликом, Крень слушал тишину. А нынче не знал он, что по длинному коридору монашеского общежития идет манатейная монахиня: ведь людям в годах вечно не спится, словно забот выше рта. Она считает туфли, что стоят у дверей келий: тут несколько женок совсем в зрелых годах,

так не сбежали бы на ночь в деревню. Просчитав туфли и длинно зевнувши, идет досыпать на жесткое ложе, не ведая, что от скрипучих половиц очнулась от сна молодая скитница.

Марья Задорина лежит недвижна, запрокинув полные руки за голову, и тишина, белая северная тишина обволакивает мозг, и он, уже очнувшийся, так и плавает в сладкой полудремоте. И бог его знает, какие только видения не приходят в эти таинственные минуты.

Где-то грустно всхлипнула кукушка, но тут же захлебнулась. И в это время почувствовала монашенка, как что-то резкое шевельнулось под грудью, и маленькая боль тошнотой подкатилась к горлу, а легкая испарина увлажнила лоб. Но маленькая боль так же неслышно растворилась, и умиротворение ослабило напрягшееся вдруг тело. Марья бессознательно всхлипнула и, откинув жесткое дерюжье одеяло, села на топчан: «Осподи, спаси мя за прегрешения».

В это время в ближних озерных зарослях призывно позвал кулик, и крик, резкий и неожиданный, заставил ее вздрогнуть. Но против обыкновения не заспешила Марья, а, тихонько поджав ноги и чувствуя в себе эту постоянную нелегкую тяжесть, опрокинулась в постель, закрывшись с головой. И стало ей жалко себя, и она тоненько заплакала, маленькая и несчастная в своем одиночестве. И Федор Крень становился непонятным громадным злом, которое вдруг навалилось бессердечно и внезапно.

Зря сегодня кричал куликом вазицкий мужик Федор Крень. Не показалась Марья. И растравив сердце ревностной горечью, он тоскливо сплюнул и исчез в осоте.

А Марья, словно перед смертным омутом рассмотрев последние годы, еще лежала до первого солнечного луча. Потом вспомнила, что сегодня банный день. Машинально спустила горячие ноги на прохладные половицы, зябко вздрогнула, обмотала себя потуже полотенцем, чтобы не выдавался живот, собрала бельишко и первой отправилась в баню. Горький дым щекотнул горло, когда открывала дверь, но глубина темного предбанника встретила густой прохладой. Любила Марья мыться первой, пока пар сухой, и не пахнет воздух прелой гнилью, и мертвый лист не льнет к ногам.

Бездумно скинула одежды, холод высыпал на пол-

ных руках. Не глядя, чувствовала округлость живота: «Ой, маменька, прости меня, глупую, неразумную». И опять толкнулось под грудью. Очнулась, в баню заскочила, дверь не закрыла, от угара горько запершило в горле. Плеснула ковш воды на ноздрястые камни. Тугая струя горячего воздуха кинулась в сенцы. Марья закрыла дверь и еще раз плеснула: пар клубом ткнулся в дверь, а потом густой обжигающей стеной пошел на Марью. Обычно в этот момент она охала, хвостала себя ароматным веничком, каталась по прохладному полу, а тут присела на лавку, окунула пригоршню в зеленую воду: «Осподи, грех-от какой. А он... что он... чужо дело. Еще ковшичек плесконуть и без болей так...»

И зачерпнула Марья ковшик тяжелой горячей воды, и плеснула на ноздрястые черные камни. Но только, видно, слишком резко развернулась, и к тому же попал окаянный палый лист под самую пятку, так что поскользнулась Марья. Нет, не хотела она падать, ейбогу, не хотела, а вот упала большим белым боком. И тогда резануло пониже груди, боль наплыла волной и не отступила. И закричала Марья, очень люто завыла.

А где-то на последнем крике, не успев оборвать его, услыхала вне себя новый народившийся крик и потеряла сознание.

Летом девятисотого года, а точнее, двадцать пятого июля, по Вазице прокатился слушок: «Бесстыжая монашка в Кельях сколотного родила. Вот времена настали».

3

Парамон вошел в избу совсем больной. В животе зудела тоненькая и весьма надоедливая боль, убивающая своей постоянностью. Размотал старик шарф с худой шеи, протопал валенками с пришивными голяшками к столу, оперся ревматическими пальцами о столешню и долго так стоял, грустно покачивая головой: «Вот и в Могилевскую скоро, на покой, значит, Парамон Иваныч, — нажился. Был конь езжан, диво на диво. Помереть-то ладно, да хоть не напозориться бы самому и людей не напозорить».

Петенбурги в Вазице — род отменитый: еще прадед, а может, и выше, если считать по семейному колену, ушел от моря на заработки в Петербург и занялся «художным» ремеслом. Так и пошли из рода в род ремесло это и прозвище — Петенбурги.

Парамон до тридцати не женился, подряжался церкви расписывать, потом заела «сухотка» по деревне, а может, Дуська завлекла, совсем девкой стала, и вернулся парень в деревню. Женился вскоре, но дети что-то не пошли, только перед самой империалистической Юлька родилась.

Когда Парамон под Варшавой бился, их Александро-Невский полк взяли в оборот, а потом немец-гад стал газами травить, и многие тут полегли — черные все с лица. А Петенбург сумел противогаз натянуть и тем самым спасся, но только газов успел хлебнуть. Взяли его в плен, увезли к самой Франции, кормили скверно, приходилось лягушек есть. «Не побрезговали, дак и выжили, а кто привередный был — дуба дал». Поселили Парамона в каменном бараке, под конвоем на работы водили, только вскоре бежал Петенбург и восемнадцать дней плутал в чужой земле. Затравили его собаками, не собаки — звери, все руки покусали. Привезли обратно, взяли в плети и погнали поле пахать.

Месяца через два познакомился Парамон с полячкой, Терезией звать. А был еще друг у него, Кузьмин по фамилии. Все с гармошкой по вечерам сидел на крыльце. Баб бывало соберется! Перепилив решетку, бежал Петенбург снова на пару с Кузьминым. В штатское переоделись, в поезд сели. Адреса варшавские были, потому как полячка здорово в Петенбурга влюбилась и дело у них к свадьбе шло. Но как побежал Петенбург, то все уговоры забыл, а остановился лишь под Москвой, когда красные в плен взяли и поставили к стенке. Ведь суды тогда скорые были: мол, дезертир — и все, и нечего хвостом вертеть. Но тут словно пелена с глаз слетела: увидали, сколь пленный телом худ, с лица болен. Записали в конвойный батальон и отправили на фронт.

Пришлось Парамону еще на фронтах гражданской пуд соли съесть. Вернулся домой — уже дочери шесть лет. Но, правда, недолго длилось семейное счастье:

умерла жена через год. Остался Парамон вдвоем с дочерью в большом отцовом доме, да с ним проклятая болезнь, которую привез Петенбург с «ерманской».

Чтобы не думалось о болезни, ибо от постоянных мыслей разрасталась она и заполняла собой все нутро, требовалось срочно руки занять делом. Придвинул Петенбург табурет к верстаку, скинул на пол крутую стружку и нехотя, самым разленивым движением притянул к себе дощечку, долго гладил неровной ладонью, вглядываясь иногда в закиданное снегом окно. Единственная мысль не покидала Парамона: душа болела о дочери, а раз не было ей покоя, значит, случилось что-то с Юлькой дурное. Так рассуждал Петенбург, раздумчиво водя пальцем по теплому дереву и чувствуя каждую его шероховатинку. «Ну что же ты, Парамошка... И пето было и пито было. Всего с собой не возьмешь. То и возьмешь, что на себе. А ремесло останется, не съедят его, не выплюют, износу ему нет. Вот и крестик на могилке повалится, а тебя помнить должны, ведь не разом же люди в землю полезут».

Пока примеривался Парамон к холстинке, чтобы ладнее наложить на нее грунт, да рыбий клей варил — времени прошло порядочно. Тут и племянник вошел, за спиной Петенбурга разделся, забросил на печь валенки.

Парамон на Акима не взглянул.

— Еду в печи доставай, я поел. Каково сготовлено, не осуди. Бабы в доме нету: Юлька в море петается, единственный наживщик. — Парамон говорил скрипуче, не глядя на Акима, и ждал спиной ответа, потому весь выпрямился и задеревенел.

Племянник долго не отвечал, шумно хлебал ложкой простоквашу, о чем-то своем вздыхал, потом сказал тихо:

— Незачем и посылал. Быват бы, и прокормились, с голоду не померли. Да, чего ты там натворил, Парамон Иваныч? Бумажка в сельсовет пришла.

— А наговорить хоть чё можно... Небось Мишуков настропалил, пьяница лешова. Вот уж ничего хорошего про него не скажу, — заговорил, горячась, Парамон, хотя каждый раз давал себе обет не расстраиваться, потому что такие разговоры не на пользу животу шли. Но уж тут завелся: — Церквы-то свергли... А душу в како место пустить? Может, и у меня здесь пусто,

а? — Парамон привстал над табуреткой, застучав по вялой груди кулаком. — А ведь душа-то, она как белая горница. Она завсе гостей примат, в нее кажный вхож, да, видно, не всякий гож. Топчутся в душе-то грязными ногами, а потом, сколько не скобли, всей грязи не вывалить... Значит, подкулачника Парамошку Селиверстова в газетке пропечатали? Да эта газетка ваша в одно место и то мала.

— Вот-вот, всегда вы так, дядя. В Койду не пойду, Майду не найду, Нижу не вижу, а в Несь не влезть.

— Ты зубами не скальсе, я, может, газами травленный и с Буденным за ручку здоровкался, а только пока Мишуков в артели, не пойду на поклон и девку свою не пущу.

Так рассуждал Петенбург, и спина его не отмякала. Он машинально водил блеклым ногтем по холстинке, ровняя поверхность, обрезанными катанцами елозил под верстаком, перебирая ногами ссыпавшуюся стружку.

На последние слова Аким возразить не мог, ибо сам был порядком зол на председателя артели «Тюлень». В друзья к нему Аким и раньше не навязывался, но с того случая, «как опозорил тот настоящее звание коммуниста», стал смотреть на него особенно косо.

Получилось так, что в соседней деревне был съезжий праздник, а это значит, что пол-Вазицы приглашено к родственникам. Пришли некоторые к председателю: мол, так и так, ты, Афанасей, прикажи отвезти нас до Стрюково, мы до вечера погуляем, а потом лошадок пришли. Мишуков возмутился: вот охальники, стыд язык не выест. Сразу воротник косоворотки расстегнул, заодно пуговицу оторвал: «Я вас в каталажку...»

Мужики — за дверь да ближней тропкой ударились в Стрюково. Подумаешь, десять километров оттопать, а зверобойка подождет, не королями и жить.

Мишуков не раз и не два выскакивал на крыльцо, для острастки палил из нагана, потом запряг сельсоветского жеребца и ударился в погоню. Но, видимо, с большой обиды не утерпел и основательно приложился к бутылке, а потому сразу же за околицей утерял дорогу.

Жеребчик долго плутал по низкорослому прибрежному березнячку, остановился и долго стоял, прядая

в тревожных сумерках чуткими ушами, но окрика хозяина так и не расслышал, потому что председатель артели «Тюлень» мирно спал, уткнувшись носом в ароматное сено.

Где-то рядом завыли волки, и вспугнутый жеребчик кинулся в сторону деревни, чудом не опрокинув Мишукова. Очнулся председатель у конюшни, осоловело повел очами и, как заприметил местный милиционер Ваня Тяпуев, лыка не вязал. Долго смотрел Мишуков на большие уши маленького милиционера, чем кровно обидел его. Ваня Тяпуев деревянной походкой ушел в сельсовет на доклад к Акиму Селиверстову.

Столь «неблаговидную экспозицию», а Мишуков в избу вползал на карачках, увидал Парамон Петенбург и на следующее утро самолично заявился к своему кровному врагу Афанасию Мишукову.

— Что ты за личность такая? Смотрю я на тебя и не признаю ничего человеческого. Хватит тебе над людьми изгиляться и белый свет смешить. Крапивой тебя мало секли, что ли? Был ты Путко, им и остался.

В недавние времена жил в Вазице отец Афанасия, по прозвищу Путко, который стал поторговывать водкой и в тайне от властей ездил даже в Кемь на промыслы, где спаивал мужиков. А однажды перед съезжим праздником, решив разбогатеть, скупил с этой целью в местной казенке все вино. Сельчане разгулялись, море им казалось по колено, в такой раж вошли, а вина нет. Лавочник под страшной клятвой намекнул, что вино скупил Ваня Путко. Пришли мужики к Путко, тот бутылку для начала принес, а потом стал на своем, набивая цену, что нет, мол, у него больше водки. Ох и разошлись тогда выпивохи: давай Путко лупить, потом на улицу вынесли на руках, уложили средь дороги, оголили заднее место, да прилюдно крапивой высекли.

Так Путко и не разбогател, а с тоски заболел и умер. Детишкам солоно пришлось, разбросало их ветром по земле. Досталось и младшему, Афанасию. Но вернулся он в Вазицу «в должности», дом поставил на городской манер, жену из Архангельска привез — ничего себе женка, посмотреть есть на что. «Сначала со всеми за ручку жался, — мужикам порато нравилось, потом звереть начал». Тогда и сочинил Парамон Петенбург песню про старого Путко и распевал ее прилюдно.

Да еще угораздило Парамона сказать злому с похмелья Мишукову:

— Любая власть есть насилие...

— Да ты, дедко, не спятил случаем? Да тебя за таки слова!..— грозно сказал Афанасий, хватаясь за кобуру.

— Ты, Путко, пушкой меня не пугай. Я и без того пуганый. Ты где-то штаны на заднице протирал, а я под немцем два года сидел, лягушек ел и с Буденным за ручку здоровкался, паразит ты этакий.

— А ну, падла кулацкая, я сейчас кишки твои на кулак намотаю,— позеленел от злости Мишуков, нервно расстегивая кобуру.

И неизвестно, что бы приключилось, если бы не появился Аким Селиверстов.

— Подбери родственничка, а то рассчитаю к чертсвой матери,— нервно бросил Мишуков, отворачиваясь к окну.

— Выйди, дядя,— посоветовал тихо Аким.

Именно эти слова окончательно довели Парамона до белого каления. Значит, его можно вытряхнуть за дверь, как мокрого кутенка, несмотря на седины. Вышел Петенбург, смолчав, но на прощанье сгрохотал дверью. Вышел, встал посреди навозной дороги и сам себя спросил: «А на кой черт я вообще забрел к Путке и нерву из себя тянул?»

Через несколько дней в районной газете появилась заметка, в которой «Блоха» писала, что подкулачник Парамон Селиверстов подпевает врагам народа. И вот нынче пришла в сельсовет бумага — «спроводиловка» на Петенбурга, а значит, для Акима новые думы, как бы вызволить Парамона из неприятной истории.

Парамон все же пересилил себя, и боль в животе притаилась. И уже захотел Парамон слышать Акимовы речи, но не дождался от племянника ни словечка и отвернулся обратно к верстаку: «Леший с ним. Старуха всю жизнь на Москву сердилась, а Москва и не знала».

Самодельным резцом провел первый путик. Стружка, отслоившись от дерева, не рассыпалась, а, свернувшись, круто легла у желтого ногтя. Подгоняемый рукой

и мыслью, резец побежал дальше, и забылось недавнее раздражение. Старик жалобно вздыхал, хмыкал, очки скатились на кончик носа, капли пота защекотали ноздри. Птицы-сирины и тонконогие кони побежали по теплому дереву, связанные четким орнаментом.

Нынче солонки и сундуки не пользовались большим спросом. Но кормиться надо было, а ни к чему другому руки не приспособлены. И пошто бог сына не дал? А то плохого волка и телята лижут. В две-то руки такого бы натворили. Вон, Владимир-иконописец что натоваривал: «Не станешь, Парамошка, мастером видным, если не будешь принуждать охоту свою. Тебе не хочется, а ты настропали, переборн себя, и охота появится». Ну, кажется, постиг он таинство великое. С кровью доходило и с нервом, и порой светило, что богоматерь его, великомученицу, на иконе каждый может узреть и возрадоваться. А вот омманулся и неотступно клянет себя, что поддался омману. Пустое место для людишек его великомученица. Чужое горе человеку — одно раздражение. Не знаешь, как себя повести и куда деть.

От таких мыслей сразу пропал интерес к работе. Плюнул Петенбург на рукоделие, просто послал его к чертовой матери, а также и Акима Селиверстова послал подальше, вешало стоеросовое. Недаром голова от земли далеко, вот и ума ни на грош нет. Одел Парамон стеганку и отправился в церковь. Хоть и свергли с нее безбожники крест золоченый, но нутро пока не распотрошили.

Церковь в Вазице скроена давненько: обшитая и беленная известью, она со временем изрядно пооблупилась и потеряла всю приглядность. И к тому же забралась далеконько, на лысый холм, больше похожая на гурий, выложенный из каменьев страдающим в одиночестве помором. Вскарабкалась церковь высоко, потому и оградка дощатая с редкими намогильниками, не успев влезть на самую верхотуру, так и осталась на склоне.

Молодые дорогу в церковь скорехонько забыли, старухам туда тяжеленько подниматься. Да и «поп в прошлом годе объелся кислой семгой» — это раз, а во-вторых, церковь в Вазице уже не числилась по губернским спискам. И только Парамон Петенбург изредка

навещал святое место. Брал литой чугунный ключ у высушенного лысого звонаря Игнатия и со скрипом отворял дверь. А потом долго бродил по зале, вздыхая грустно: «Ай да и Парамошка. И неужели я соделял?»

Восхищенно чмокал языком Парамон: стесняться тут некого. Напоследок подходил к божьей матери Казанской — самая его любимая — и, дохнув на тускнеющие краски, долго тер рукавом, вспоминая при этом, какие кисти у него тогда были удачные и как хорошо грунт лег. А Николе Поморскому, рыбацкому заступнику, длиннолицему поморскому богу, похожему на деда Селиверстова, он только кланялся в пояс, считая, что смотрины окончены.

Опять скрипел в замочной скважине ключ и пропадал в кожаном мешочке звонаря. Игнатий щурил белые незаметные глаза, и робкая улыбка застывала на тонких губах, словно звонарь хотел что-то спросить. Но обычно дальше улыбки дело не шло. С Игнатием Петенбург в беседу не вступал, а только, спускаясь с холма, говорил постоянные слова: «За рыбой приходи. Да не горбись, я, ей-богу, не святой».

Странный человек на Вазице Парамон Петенбург — о таких обычно говорят, что «немножко не того», потому что непонятен он для селян своими привычками и характером. Во всей природе он усматривал душу. Ему казалось, что в темном лесу, под серыми корневищами, сидит леший и плетет длинные сети, а березовая опушка — это девка-«замануха», которая душу выпивает, а иначе почему случается так, что ежели в травы упасть лесные да в тихое небо всмотреться, а синицы над головой чив-чив, тут и наступает соблазн великий. И в море душа есть, и в медведе, что встал на лапы на лесной тропе. Тогда хмурит Парамон рыжие брови, веснушчатое лицо наливается бледностью, но голос твердеет, и кричит Петенбург в глаза лесному зверю, и вопль его страшен: «Ах ты, тварь бессовестная, пошто на глаза мне лезешь. А ну, уходи, падь ты эдакая, пока я тебе брюшину топором не распустил». И не было случая, чтобы лесной зверь задел Парамона, как не было и того, чтобы страдал он от моря, ибо в шепоте волн мог расслышать бесовское. Но и к церкви Петенбург относился уважительно и любил говаривать: «Ве-

рим не верим, но в старинушку гоним. Кому думно, дак верует, а кому нет — его дело».

Церковь он любил навещать. Слушал пение, каждый раз при этом ослабевал душой и просветлялся разумом, часто плакал, не стесняясь слез своих. А речей поповских не слушал, потому как не верил им. По его мысли, такие слова, как «добродетель», «твори добро ближнему», «да не оскудеет рука дающая», громко произноситься не должны, а однажды с молоком матери проникнув в душу, обязаны жить там постоянно.

Сегодня, придя к «Николе Поморскому» и вглядевшись в глаза его, он уловил ответ положительный на свой вопрос: значит, Юлька жива пока.

«Никола Поморский» — первая икона Петенбурга. Перед отхожими промыслами он срисовал ее с деда Пантелеймона. В те годы много мужиков унесло в море, а где их прибьет — одному богу известно. Вот и решено было на деревенском сходе доставить икону на берег и срубить избу-часовню на Микулкином Носу. Так все и исполнили. Часовенку из листвы поставили — крепкое дерево, век выстоит. В углу икону укрепили — громадная икона в метровом окладе, плывут по чеканному серебру парусные кораблики.

Те зверобои тогда на берег так и не вышли, но уж позднее поморы знали: как льдом понесет, нужно зацепиться у Микулкина Носа, там изба есть — обогреться можно. Не будь этой избушки — не один бы загинул на стуже.

А потом попала икона в деревенскую церковь в Чурьиге, да ее рушить комсомольцы стали: бросили в костер, а Никола чудом выкатился из пламени и лежит себе в снегу. Проезжал мимо вазицкий мужик, разглядел икону, выхватил из дыма, привез домой и в передний угол повесил. Да только прознали местные женки, с боем икону взяли и торжественно внесли в церковь.

Как вернулся Парамон с гражданской, рассказала жена про Николу. Пришел Петенбург в церковь, глянул на икону — у той углы все обгорели, но лик светел, писан был тонкой колонковой кистью, а грунт отделан рыбьим зубом, да столь гладко, что походил на яичную скорлупу.

...Когда Парамон спустился в Вазицу, наступил вечер. Затуманились изгибы речки, и снежные валуны, нависшие над обрывом, походили на белых медведей. Небо утеряло свою обычную серую безликость: видимо, завтра будет мороз, потому как покрылось оно легкой пеленой. Звезды сквозь нее проглядывали выпукло, а по закрайкам неба легла багровость, и это лихое пламя метнулось на деревню, косо легло красными языками на окна и крыши. Все сегодня рассмотрел Парамон, словно всегда спешил, а тут улучил вдруг свободную минуту и впервые увидел свою деревню. А может, было действительно так?

Петенбург отмечал каждую подробность, и все волновало его... Где-то в хлеву открылась дверца: «Но-но, Манька, не балуй». Звякнуло ведро о колодезный сруб. Девки хохотнули, пробегая стайкой, наверное, в избу-читальню. Все было извечное, знакомое, трогательно близкое. И запах моря, и навоза, и воздуха был свой, постоянный, но и сегодняшний. Именно сегодняшний. И все вдруг представилось Парамону в осязаемом обличье, не имеющем ни определенной формы, ни названия. Что-то шевельнулось в горле и горько запершило. Тонко застонало сердце, и впервые как-то по-особенному почувствовалась своя старость и неловкое тело, которое, оказывается, было совсем чужим и непослушным. Он прислушивался к себе, близость конца ужаснула его. И, может, впервые за неполные шестьдесят лет, что прожил, он так чувственно постиг этот обыденный мирок и понял, для чего жил. Чтобы просто видеть, да-да, может, это и так, просто вдыхать и даже просто безразлично обходить стороной что-то чересчур надоевшее, ибо и в этом «обходить стороной» была своя таинственная прелесть неповторимости.

Мысли были туманные и неотчетливые. Они пришли внезапно, как отзвук на душевную боль, пришли и больше не оставляли. И оттого чувствовал в себе Петенбург сосущую тревогу и постоянное изнуряющее возбуждение. Парамон спрашивал себя, зачем он лезет со своими мыслями в чужой огород, ведь и веку ему, быть может, одна неделя. Хватит-хватит, с его-то нутром хоть «в остатние годы пожить миром».

4

Их привезли днем на гнедой лошади с тугими боками. Мишка Крень лежал плоско, на помертвелом лице застыли строгие тени, глядел он замороженно, скосив глаза куда-то вбок, а на его плече лежала голова Юльки в большой пыжиковой шапке.

Лошадь остановилась на окраине деревни, сама остановилась, повела лиловыми в изморозной кайме глазами и виновато пошевелила ушами: мол, я здесь ни при чем, мое дело служивое «тянуть-везти». Деревня сразу узнала о случившемся и скопилась на угоре молчаливой толпой.

Старый Крень подошел к саням первым: снял каракулевый пирожок, и кудерьки вокруг лысины забелели от мороза. Мишка лежал недвижно, от него пахло ворванью и смертью, тем неуловимым запахом тлена, который не отпускает людей старых и умерших. Гнедые глаза его безразлично миновали отца, и эта немота отпугнула Федора Креня.

— А вы чего выстали, не видали, да? — закричал Крень толпе.

Но еще не ворохнулись сани, не успели полозья оторваться от потной дороги, как из-за крайней избы показался Петенбург. Длинные ноги он переставлял путано и, видимо, едва смог донести себя до саней, потому что сразу рухнул к Юлькиному лицу.

— Доченька, да что это деется? Ты хоть жива?

Шершавая ладонь озабоченно коснулась заиндевевшей щеки дочери и запнулась. Показалось старому, что Юлька мертва. Прижался ко лбу губами, отыскивая в дочери жизнь, но замерзшие губы слушались плохо и ныли от страха.

— Ироды, что наделали... — тихо сказал Петенбург, отворачивая лицо от саней.

— Что случилось? — спросил председатель сельсовета, расталкивая толпу.

— Сами не знаем, — почему-то виновато ответил возница. — Под Абрамовским нашли. Видим, что-то чернеется на льду под самым берегом. А они уж замлели, и на берег подняться сил нет. Мужика-то отходили, а девка совсем плоха. — Полез за махоркой в карман и добавил в утешение: — Кажись, жива еще.

— А где остальные?

— Это уж вам знать, быват, потонули, а может, и море носит.

Только сейчас вспомнили еще о четверых, и то, что сказал возница, придавило и ошарашило. Столь неожиданны были эти слова. И смертный смысл их лишь тогда дошел до людей, когда потерянно вскрикнула жена Афанасия Минькина. Молодица завыла на всю улицу, а по остальным плакать было некому — бобыли, а «родители на погосте, они не плачут».

Вопль Афанасьевой женки растекся по вазицким улицам, и одного этого было достаточно, чтобы всполошить деревню. А тут еще к ней присоединилась мать Афанасия, деревенская вопленница. Мастерица вопить, когда дело касалось чужого горя, она причитала сейчас столь горько, что щемило сердце: «Ой ты, Афонюшка, свет мой милый, да на кого ты, князь удалой, покинул нас, да, видно, век куковать нам, постылым, и не на кого приклонить сиротливой головушки».

...Юлька была легка, как полуденный свет. Снег тихими мухами садился на ее лицо и не таял. Когда Аким брал из саней Юльку, на него опасливо глянули глаза Креня, безжалостно острые. Михаил пытался схватить Юлькину малицу, но рука его была тяжела и непослушна.

Парамон выгнал племянника с повети, сам раздевал дочь, путаясь непослушными руками в промерзших одеждах, а потом, отчаявшись, вспорол малицу длинным ножом и, осыпав Юлькино тело снегом, стал растирать его шерстяной рукавицей. Он растирал такое незнакомое, уже совсем взрослое тело и давился слезами. Он был слаб на глаза, Парамон Петенбург, ему не хватало воздуха, сердце билось под рубахой, готовое выпрыгнуть. Старик мял руками дочернее тело лил спирт на голубую кожу, и спирт мешался со слезами. Пришла тетка Парамона, семидесятилетняя Анисья Малыгина.

— Не дрова колешь. Девку-то раскромсал всю.

Сказала спокойно и так же несуетливо оттянула веко у Юльки. Анисья была стара, чтобы пугаться смерти.

— Не дрожи. Богу богово, а кесарю кесарево. От того, что на роду написано, не убежишь. — Замотала

Юльку в малицу и влила ей в рот спирт. Потом отхлебнула сама и еще натерла девке спиртом виски и грудь. — Тащи в горницу.

Потом тетка Анисья долго сидела у постели больной. Жар высыпал на Юлькиных щеках краснее бархата. Анисья похвостала родственницу по щекам, больная открыла немые глаза. Она вглядывалась в потолок и рассматривала там что-то недоступное остальным. Парамон обнял Юлькину голову:

— Доченька, не помирай.

Юлька закрыла глаза.

— Дай бог, спасется Юлька, — сказала Анисья, еще отхлебнула из бутылки и пошла к двери.

Аким враждебно посторонился: ему хотелось обругать тетку Анисью за то, что обнадежила своим присутствием и так быстро ушла, оставив двух мужиков посреди беды. Он смотрел на морщинистую шею Парамона, по-детски поросшую рыжими косичками, и вспоминал вечер в нардоме. Тогда, как помнится, играли пьесу «Чудо». Юлька, что и говорить, некрасовитая девка: лоб великоват — портит, и брови рыжие — отцовы, но глаза редкие, цвета волны, что ли, в общем, так же изменчивы. Парамон говаривал, что материны у нее глаза, а на его, Акима, взгляд, так Парамоновы. Да, тогда по ходу пьесы Юлька была женой и должна была повторять: мол, я тебя не люблю и только силой выхожу замуж. А потом Аким лежал в гробу и, когда вложили ему в руку свечу, то Юлька заревела, как белуга, на весь зал. И Акиму вдруг захотелось курить, потому как было страшно неудобно от такого плача. Выходило, что его оплакивают. Он достал, правда, с большими трудностями, папироску из кармана и закурил. И тогда весь зал смеялся, и Юлька тоже смеялась сквозь слезы, и глаза у нее были зеленые. Такое вот дело...

— Акимко, помрет наша Юлька, — нарушил молчание Парамо́н. — Я-то нынче мати во сне видел. Звала она меня, тело мое иззябло, и стал я свой корапь готовить.

Парамон шатнулся на табурете, и тот противно так заскрипел. Горе окончательно сломило старика, и он заплакал уж в который раз. Аким понимал, что нужно срочно идти в сельсовет и звонить в Архангельск о по-

мощи. В море где-то четверо, «может, не погинули», и носит их вода из конца в конец. В то же время сюда срочно нужен врач, ну в крайнем случае фельдшер, но врача в этих местах не бывало после недавних холерных годов, а фельдшер, невзрачный старик, летом окончательно спился, осиротив деревню. Хоть и немудрящий был лекарь, но рану или хворость в животе залечить мог. Сейчас медицина жила в Койде, ехать верст пятьдесят, и никто, кроме Акима, туда не двинется.

В сельсовете, за своим столом, он нашел вазицкого милиционера Ваню Тяпуева, который, приспособив к большой латунной чернильнице осколок зеркала, наводил чуб. Он старательно начесывал его на лоб и сбивал набок фуражку, а, увидев начальство, с председательского места поднялся очень неохотно, может, действительно набегался за день.

— Ты уступи место-то, Ваня, — посоветовал Аким Селиверстов, подталкивая милиционера в плечо. — Да сбегай по избам, ворохни мужиков, что посмелее, пусть сбиваются назавтра в поиск. Да в Юрьевскую конюшню сходи, там у нас лошади покрепче стоят. Подскажи, чтобы мне Корму в санки запрягли.

Тяпуев посмотрел на председателя. Худенькое лицо его было любопытно, кобура с наганом сбилась на живот и провисла, болтаясь меж коленями, и весь вид у Вани был весьма невоинственный. Заметив вопросительный взгляд Тяпуева, Аким сказал:

— Фельдшера нать, у Парамона Юлька плоха. Поеду в Койду.

— Куда на ночь-то глядя? Лучше поране с утра и выехать, — посоветовал Тяпуев. — Да и волки ныне балуют.

— Как Петенбург говорит, ты меня не пугай, я под немцем сидел и лягушками питался, — грустно пошутил Аким, положив голову на руки. — Ты тут присмотри за Петенбургом... Ну, давай, поди за лошадью.

Селиверстов стал рыться в столе. Достал наган, который никогда при себе не носил, прокрутил барабан, высыпал патроны на ладонь и, взвесив желтые камешки, разместил по местам. С этим наганом когда-то вырывался Аким из рук белых под Обозерской, но, правда, была еще в кармане граната «мильс». Лесами идти голодно, да и оборвался он тогда. Решил на деревню

выйти, но как тут узнаешь, белые или красные на постое. Мысль пришла внезапно: дом попа самый заметный, около церкви. С полей подобрался к нему, с ходу — в поповские двери. А батюшка оказался матерый. Выхватил Аким гранату и под нос попу тык: «Разведка мы, показывай, где красная сволочь».

— Да господь с тобой, сынок, в спокойствии мы ныне, — ни капли не испугавшись, ответил батюшка и почесал вислый живот. — Ты поешь, а дорогу тебе сынок укажет.

Так, приноровившись к поповским домам, и шел Аким от деревни к деревне: в трех удачно побывал, а в четвертой нарвался на белый пост. Пришлось уходить, вот тогда и наганом поработал.

Председатель сельсовета сидел за бывшим купеческим обшарпанным столом. Быстро же пришел в негодность: зеленое сукно ободрано и залито чернилами, потому что садятся за него все кому не лень. Комната не закрывалась. Правда, кроме стола и сейфа, ничего в ней и не было. Но Ваню Тяпуева такая безответственность коробила. А вдруг сейф упрут, так, ради забавы, утащат, в море бросят? Может, потому в свободное время он и старался занять председательский стул.

Но сегодня, впервые за год работы здесь, Аким, уходя, закрыл дверь большим амбарным замком. Завернувшись в тулуп, он повалился в сани и понюгнул лошадь.

А утром, перед самой непогодой, со стороны Архангельска прибежала довольно свежая лошадка, которая доставила в Вазицу кривобокую женщину и солидного мужчину в кожаном пальто и папахе, наверное, инспектора из губернии. Тот, что в пальто, сразу пошел в избу с красным флагом на крыше, а женщина, покинув сани, оказалась треугольной. Она оперлась о палочку и по-вороньи стала осматриваться: видимо, в этих местах давно не бывала, а может, и вообще впервые очутилась здесь. Мало ли кого носит-мытарит жизнь, но только доподлинно известно — это засекли бабы сразу в нескольких избах, — что приезжая зашла в дом к тетке Анисье, вдове, выпивохе и грубой женщине.

А тот, что в кожаном пальто, в сельсовете задержался недолго. В сопровождении Вани-милиционера и председателя артели «Тюлень» Афанасия Мишукова направился к дому Парамона Петенбурга. У Вани винтовка — он сегодня почему-то был при большом оружии — билась о коленки и явно «препятствовала движению». Мишуков шел гордый и прямой: широкое лицо было важным, а на голове — шапка с кожаным верхом.

Парамон Петенбург только что управился по хозяйству. Правда, в доме всего две курицы: все хоть Юльке яичко будет. Ну, а для кошки приносила молока тетка Анисья. Печь Парамон натопил пожарче, чтобы Юльке не так маятно было — «жар костей не ломит», картошки отварил, но сам есть не стал, так и сидел за столом, катая хлебный шарик по скобленой доске.

За этим занятием и застал его представитель из города. Он прошел к передней лавке, следя подшитыми кожей новыми валенками. Мишуков, странно улыбаясь, пододвинул к себе табуретку и взгромоздился на нее, как на коня. Ваня Тяпуев сиротливо встал у двери, опираясь на винтовку. Парамон, увидев важного человека, хотел было и чаю предложить, но всмотревшись в немое лицо, намерение оставил и спросил резко:

— С чем пришли?

Он осунулся, дедко Парамон. За одну ночь побелели его волосы и голос стал тусклым.

— Собирайся, гад, — сказал Мишуков.

Представитель в кожаном пальто поиграл по столешне твердыми пальцами. Ваня Тяпуев встал у дверей в сторонку. Но что удивительно: видимо, сломила Петенбурга беда, но только не вспылил он по обыкновению, не хватанул кулаком по столу, а жалобно, помимо своей воли глотая слезы, попросил у кожаного пальто:

— Юлька, дочь моя, помират. Может, погодите?

— Ничего, присмотрят, — сказал строго Мишуков, поднимаясь с табуретки.

Странная робость овладела Петенбургом, что-то надломилось в нем за эти дни. Он хотел бы сейчас долго и горячо говорить: мол, что вы творите, товарищи, ведь и букашка — человек. А он под немцем два года сидел, пусть и при старой власти, лягушками питался, но, благодарение богу, выжил, и сам Буденный ему руку

жал. Но с тех пор прошло десять лет, и, наверное, никто не поверит, что не придумано это стариком. Ничего путного не мог сказать Петенбург, слова не вязались, и потому, не возражая, стал собираться в путь-дорогу. А за дверью лежала беспамятная дочь, и в кухню доносились ее всхлипы, и, наверное, это было слишком бесчеловечно. Вот почему не глядел на старика представитель из города. Да и некогда ему было вдаваться в подробности: дома жена рожала, как-то там обойдется. Раз директива дадена, то исполнять надо. А Парамон, набрасывая на себя старенькую малку, тихо бормотал:

— Вот и дожился: рестант я, и собрать меня некому. Рестант, значит, Парамон Иваныч.

Петенбург прошел в белую горницу, низко поклонился перед дочерью, поцеловал ее, беспамятную, в лоб и сказал сухим голосом:

— Язык свой виню и сердце свое браню. Ну и прощевай, доченька, быват, и не свидеться боле.

Повернувшись, Парамон пошел к дверям, а Ваня Тяпуев встал у него на пути и сказал:

— Парамон Иваныч, из вещичек бы чего прихватили. Вдруг надолго...

— Ничего мне не нать.

Он вышел на взвоз, рассмотрел заснеженную, притихшую и совсем обезлюдевшую деревню, словно по улицам метлой замели, потом низко поклонился в сторону моря: «Прощевай, батюшко, не гневись». Потом на все остальные стороны склонился в поясном поклоне: «Прощевайте, люди добрые. Быват, чего и не так сказал иль сотворил, так не поминайте лихом».

— Хватит преставленье ломать, — оборвал Мишуков, — тут тебе не театра, давай пошли. В тюрьме для стишков времени хватит.

И он подтолкнул старика в плечо, а скользко было на давно не чищенном взвозе, и потому Петенбург поскользнулся и едва не упал. И этот тычок Мишукова засекли люди, что глазели сейчас в окна, и занесли в черный список, а когда весы правосудия будут в секундном равновесии, то и толчок упадет на чашу зла.

Парамона думали везти в город сразу после обеда, а пока поместили в сельсовете, в соседней комнате, но так как замка на двери не было, то приставили Ваню

Тяпуева. Но неожиданно накатилась на Вазицу метель, да такая, что страшно показаться на улицу: враз подметет. Двери у Петенбурга — он, видимо, второпях не запер их по-настоящему — распахнулись и давай громыхать, поддакивая злому ветру. Но этого люди, конечно, не усмотрели бы и не знали, так как снег сразу залепил окна. Потом расскажет подробности горбатая женщина, что внезапно вынырнула из-за поворота. Она едва ползла, захлебываясь ветром, и оттого часто показывала ему спину. Ворота на поветь едва закрыла, а снегу уже намело порядочно.

Женщина огляделась. Она была еще не старой, ее серые печальные глаза, видимо, уже давно не высветлялись, и скорбные морщинки пролегли у рта на молодовитом лице. Она осмотрелась вокруг, словно припоминая, что здесь было раньше, и приметила, что дом без хозяйки окончательно осиротел и что скотину здесь давно не держат, потому как сеном не пахнет, и только чудом уцелевший клок зачернелой травы качается на деревянном крюке. Женщина, очевидно, знала избу и сейчас только заново привыкала. Она не пошла в нижнюю половину, а, скользя мерзлыми валенками по крашеным сенцам, постучалась в кухонную дверь, хотя уже догадывалась, что ей никто не ответит.

На кухне было тихо, только музыкально отбивали часы норвежской работы. На столе стояли стакан недопитого чаю и чугунок с картошкой, из-за неплотно прикрытой голубенькой двери доносилось постанывание.

Марья Задорина, а это была она, сняла шубейку из потертого бархата: холодному жакетику, наверное, лет было предостаточно, потому как он изрядно заплешивел. Палку она приткнула у порога и смахнула круговым движением вдовий платок. А когда сняла его с плеч, то обнаружился куль тяжелых черных волос. «Боже милостивый, — шептала горбатая, — доколе страдать безвинным? И неужели ангелы-хранители, воины твои небесные, совсем заробились? И за кой ляд они только жалованье получают?»

А Юлька еще не приходила в себя: на желтом лице путались рыжие, как у отца, волосы, выпуклые голубые веки накрыли бездумные глаза, пальцы бегали по цветным лоскутам одеяла, словно собирали ягоды.

— Ой, белеюшко ты мое, да как тебя скрутило-связало.

Худыми пальцами с круглыми суставами Марья пробежала по Юлькиной груди, постукала, побрякала костяшками, помяла бока. Потом подожгла мелко нарезанный рог: удушливый дым пошел по комнате. Юлька тяжело закашлялась, но глаз не открыла. А незваная гостья шевелилась быстро. Наложила на грудь овечьей шерсти, обмотала холстинкой простиранной, добыла из узелка пузырек, разжала Юлькины плотные зубы и влила жидкость.

— Пей косата-голубушка. Эта водица на иве настояна да на добром лесном меду. Недели не пройдет, будешь как новенькая копейка. Ой, горюня ты моя. Время на время не походит: молоды молодятся, а стары старятся. Ведь и я когда-то молоденькой была.

...Да, как не была-то, только припомнить нужно. Татка в море ушел по треску, а как ушел, так и пропал. Мати от иконы не оттянуть, дочь единую в зимнегорские кельи отправила за отца поклоны бить. Ушла Марья на месяц, а на двадцатом дне записку от матери приносят: «Доченька, извини меня, но оставляю тебя. Не одну покидаю, но с богом. Часто буду молиться за тебя, а ты в молитве поминай нас. Привез Санька Параныкин известие, что потонул наш батько. Карбас волчой захвостнуло. Убивайся не убивайся, а жить-то нать. Сосед наш Митька Манькин, тот, что недавно с действительной пришел, повесился. У Пелагеи Юрьевой корова задавилась — кось рыбная в горло попалась. Семга будет, дак пирог рыбный пошлю. Может, бог-от услышит молитвы наши. Привет от Нюры, от Сони, от Даши, Николая, Митьки, дяди Степы, тети Клавдеи, всей нашей родни. Даша Степкина, что с тобой бегала, на два годика постарше, вчера свадьбу справила. Гулянья-то было. Писала соседка Рая Никитишна».

А через неделю и второе известие принесли. Пошла Степанида на речку белье стирать-полоскать, да, видно, дощечка намыленная была, а вода прибылая, высокая, так и укатилась женка в омут. Осиротела разом Марья. Дом ее в Дураково криво опоясался досками, под самые окна пошла особенно сочная крапива, и нежилым духом сразу повеяло вокруг.

...От давних и случайных воспоминаний освободил

Марью Задорину скрип двери, и морозный воздух окатил зябкие плечи.

— Избу-то не студи, плотнее двери притвори, — досадливо сказала она высоченному мужику в нагольном новом полушубке. Мороз сразу заскочил под лавку и ушел в половицы, а запах овчины, густой запах, по-хозяйски расположился на кухне. Мишка Крень на бабку особого внимания не обратил: лает тут шавка горбатая. Сразу мимо Марьи прошел в горницу, топая большими обшитыми кожей валенками. Михаил между делом пригладил вокруг лысины прямые волосы, уселся на скрипучий табурет и так не шевельнулся битый час, навесив плечи над спящей и вглядываясь в Юльку. Глубоко запавшие глаза Креня были угрюмы и печальны. Потом, оглянувшись, он нерешительно поправил одеяло, потрескавшейся от морского рассола ладонью погладил больную по щеке и сказал глухо:

— Юлька, не помирай, сватов зашлю.

Сухое лицо дрогнуло, еще не ожившее от многодневной голодовки лицо с желтыми тенями на висках. Но, видать, силен, ох как силен Крень, если сумел не слечь надолго в постель, а приплелся, насилуя себя. Он уронил большую голову в пригоршню ладоней и закачался на табурете... «Не казни меня, Пашенька. Ей-богу, невинен я, отпусти, христом прошу. Не со зла тогда ударил тебя, от помутнения разума».

От постоянных мыслей словно тронулся умом Крень, а может, льдина ослабила его душу, и, однажды припомнив жену, он травил себя постоянной мыслью... Как же это случилось? Он в горницу хотел войти и споткнулся о хохот ее. Старый Крень что-то наговаривает, а она, Пашка, заливается. Ой, стерва Пашка, чего там вытворяешь? Распахнул сразу обе половинки: показалось, что старик-отец отпрянул к иконе. Ну, перестань, женка, смеяться. Разве не видишь, что муж в гневе? Не уловила Пашка смертельного взгляда, просто светло на душе было, сына ждала она. Он, чудак, бился под грудью, и от того морщился веснушчатый нос Пашкин, как от щекотки. Ведь крикнул ей Мишка: «Не ржи! И не стыдно, как кобыла хохочешь. Ишь, завелась!» «Ну почто ты, Пашенька, не споткнулась о грозный окрик? Ведь толкнул я тебя, да на острый угол стола... Не казни меня, отпусти, жениться хочу».

Крень шатался на старой табуретке, и Марье стало жалко ее. «Как-никак, а все-таки вещь, на улице не валяется. А этот идол не иначе свергнет ее»,— бормотала она на кухне, но Креню думать не мешала, потихоньку щепала лучину. Самовар наставила: «Какой ни на есть гость, а без чаю не спровадишь».

— Племяш-от где? — буркнул Михаил как в бочку, не глядя на Марью и не попрощавшись, ушел.

— У, турок бесчувственный, — пробормотала вослед Марья, забираясь на печь.

Ей и самой сразу расхотелось чаю.

Юлька очнулась утром. Открыла выгоревшие от жара глаза, прошелестела что-то слабым голосом, но и этого было достаточно Марье, чтобы она моментально подскочила к кровати.

— Ну-ко, хватит, голубушка, залеживаться, вишь, бока до плеши натерла. Ну ладно-ладно, ты помолчи, — успокоила Юльку, заметив ее вопросительный взгляд.— Парамон пошел рыбки на варю сосмекать.

Юлька, видимо, отчетливо расслышала бабку, потому что глаза ее были понятливы и она даже согласно шевельнула головой. Но потом какая-то тайная сила закрыла глаза, тяжелые веки опустились, и видно было, как билась на левом виске тонкая паутинка. Пот пробивался сквозь кожу, и сразу легкая, едва уловимая краснина окрасила щеки, и зерна зубов уже свободнее глянули из-за ослабевших губ.

А вечером снова пришел Крень. На этот раз Марью приметил и даже спросил:

— Ты чья? Видать, не тутошняя...— Потом порылся в карманах и достал кулек.— Гостинец тут, конфекты.

В горнице он сразу заметил, что Юлька дышит ровнее и словно бы растворилась на лице нездоровая бледность. Крень склонился над девчонкой, вдыхая запах пшеничных волос, и горьковатый комок неизъяснимой жалости к себе вдруг встал в горле. И впервые за последние годы непонятное волнение охладило спину. Сердцу было тесно, и оно тыкалось в ребра, обливаясь кровью. Мишке хотелось сказать что-то очень доброе, но слова не находились. И Крень только и смог прошептать, щекоча Юлькино ухо губами:

— Помрет отец, свою избу поставим. Закабалил он меня, Юлька, хомут тесный надел, мочи боле нету.

А потом он стоял на улице — распахнутый. Снег больно впивался в лицо, хлестал щеки, и они враз покрылись гусиной кожей. Зимний вечер обдавал Михаила холодом, а ему было отчего-то душно, и, приткнув на самом затылке пыжиковую шапку, он закрутился на одной ноге, потом опрокинулся в снег и долго барахтался в сугробе, рассматривая сквозь ледышки, налипшие на ресницах, окна своего дома. И показалось ему, что стоит в неясном керосиновом свете обмороженного окна его отец, и погрозил Мишка старому Креню кулаком, и пополз на четвереньках навстречу этому лицу.

Облизал Крень мерзлые губы и словно ощутил запах Юлькиной кожи. «На руках уташшу. Ой, и закачу свадьбу, качну деревню. Пять олешков заколю, пусть знают Мишку Креня. И на брагу не поскуплюсь. Ой, и вознесу я тебя, Юлька».

Но тут пропал, улетучился радостный хмель, отрезвил морозный вечер. Встал Крень, провел рукавицей по стылой овчине и устало зевнул, вспомнив об отце. «Скажу ему — баста! Баста — и все! Не робенок я, чтобы надо мной изгаляться».

5

Пелагея открыла один глаз, из-под коротких ресниц косо глянула вбок, увидала спину мужа в грязном исподнем. Крень посидел на кровати, потом зашаркал опорками к толстолобому комоду, порылся у себя под тельной рубахой, достал ключик на рыжем от пота шнурке, открыл ящик и со дна его вытянул увесистый сверток. Бабка Кренева смотрела уже в два глаза.

Старик рассыпал желтые монеты и стал катать их по столу. Пелагея знала забаву мужа. Однажды даже пробовала заикнуться: на что, мол, деньги копишь — все равно с собой не возьмешь. Нет бы на дело употребить, ведь и я в ремках хожу, и у Мишки на перемывку тельной рубахи нету. Кто узнает посторонний — засмеет. Но в ответ на длинную речь свою Пелагея получила пониже поясницы столь крепкий пинок, что после этого целую неделю садилась с болью.

А, спровадив жену из горницы, Крень еще с издевкой крикнул вдогонку: «Для счастия душевного денежки. Хочу — в Вазицу зашвырну, а хочу — советской власти подарок сделаю. Но вам — во! — и он соорудил из крепких пальцев внушительный кукиш.— Своим горбом наживал, сам и распоряжусь».

Федора Креня на прямой не объехать. Еще в начале двадцатого года, когда настали трудные времена, забил он оленье стадо, мясо продал в армию, потом и живность лишнюю сбыл из хлева. Много ли самому надо: сухая корка да рубаха на перемывку. А нынче, с того самого дня, как распрощался с Парамоном, так и запил вкруговую, загонял жену, а от сына ушел, даже не поздоровавшись.

Он сидел у стола и катал круглые монеты. Отсвечивала при свете керосиновой лампы лысина. Крень отсчитывал золотые пятерки, укладывал столбиками, потом рассыпал по скатерти. Однажды визгливо хохотнул, но тут же оглянулся. Хорошо, бабка успела закрыть глаза. А когда открыла вновь, то увидала кальсоны с распущенными подвязками и сутулую спину Креня в теплой на меху фуфайке. Федор зажег фонарь, подкрутил фитиль и вышел за дверь. Пелагея обидчиво хмыкнула. Подумала: «Присмотреть нать. Сгноит ведь добро. И железо тлеет». Но, вспомнив недавний пинок, повернулась на другой бок.

А Федор Крень был нынче совсем растревожен: Петенбурга забрали, значит, и его черед — заметут как миленького, в сани да стражника под бок — и кати тогда в разгуляево на свалку. Вот и насчет денежек аккуратнее надо: век остатний как доживать — не с рукой протянутой ходить, не милостыню же на старости лет собирать. Мишка — сам дуб, прокормит себя, а бабка... У стола не без крох, не много и надо ей. Лет двадцать назад пробовала ворохнуться: подолом завертела, ты такой-рассякой, измывалец. Самовар прихватила да ночью к матери умчалась на другой конец Вазицы. А у тех самих целая конница на лавках, сами рукодано едят. Наутро с матюками выгнали. Пришла покоряться. Видно, мерзла, минуты у ворот считала, гордыню смиряла, да холод — он хуже стражника... Господи, сколь ничтожны мы, твари твои.

Крень отворотил половицу в дальнем углу хлева, на-

давил заступом, но тот глухо отскочил. Тогда притащил ломик и стал долбить ямку под самым стояком. Сил было маловато, а потому сразу вспотела голова. Крень шапку отбросил в пустые ясли: здесь недавно стоял жеребец — загнал его по сходной цене в Мегру... Ну, кажись, ямка в самую пору, вот только соломки подстелить — тут и самое место денежкам. Вот смеху-то будет, когда помру. Кинутся искать, как вороны кинутся, а дом кверху плечом не толкнешь — это тебе не сундук. А деньги — они и на том свете силу имеют. Ну, чего доброго, упокойнички не примут к себе, воспротивятся, я тогда денежками и ублажу. Нету на моих золотых крови, окромя своей: три пальца оставил на Новой Земле и шесть зубов цинге-старухе подарил. Ой, как Сенька Лоушкин помирал — черней грязи был, а плакал-то как, все жить хотел.

Крень нагнулся над неровной ямкой, хотел землицу руками подровнять, а ногой нечаянно пихнул сверток и пока собирал монеты и увязывал их ладнее, тут и расслышал внезапные шаги. Это Мишка, сын, возвращаясь от Юльки, вдруг увидел в хлеву тонкую полоску света. Но полоснула она ярким пламенем, прямо обожгла глаза — столь была неожиданна. Первая мысль — воры, потому пошарил на ощупь — все тут с малых лет родное,— в руки попался шкворень. Скрадывая собственный вес и силу, Мишка глянул в узкую полоску света и увидел сгорбленного отца. Сначала подумал, что, видать, тронулся старик с перепоя и сейчас чертей лупит. А иначе с чего бы тут в назьме ковырялся?

Отец вскочил испуганный, совсем легко вскочил. Хотел сверток ногою прикрыть — и опять неудача, потому как развернулась тряпица и покатилось золото черными кругляками.

— Чего глаза пучишь, за отцом родным подглядываешь, а? — растерянно спросил Федор, вглядываясь в непроницаемые глаза сына, «коричневые Пелагеины глаза — ее отродье, ох как ненавижу!»— Гляди-гляди, помру, дак твое будет.

Но Михаил не слушал отца. «Господи,— думал он,— помоги мне. И доколе он будет изгаляться надо мной, своими руками придушу... вот нынче и прикончу».

— Делиться давай, и нынче же! — с вызовом и нарочито громко, чтобы заглушить собственную тревогу, выкрикнул Михаил.

Он травил душу страшными мыслями, но отца все-таки побаивался. Даже не отца, а той суеверной власти, что с кровью передается от поколения к поколению и перейти которую трудно и грешно.

— Стоящее дело. И блошка семью заводит. А я вот золотишко задумал припрятать. Дай, думаю, схороню от злых глаз подале... Горе миру от соблазнов. Вот скажи, Мишка, украдешь, а?

Усмешка плавала на бледном лице старика. Здорово ослаб за последние дни Федор, глаза ввалились, и горбатый нос еще резче выпятился над впалым ртом. Но в глазах вспыхивали желтые бесовские искры, и был похож сейчас Федор на старую плешивую рысь, очень голодную и усталую, притаившуюся в ожидании добычи. Ей уже не взять зверя, зря она точит тупые когти и разжигает душу. Не дотянутся когда-то быстрые лапы до шеи лосенка, и слабые зубы уже не вопьются в терпкое мясо, но по-прежнему хищно горбатится ее спина.

— Завтра же делиться будем, — сказал Михаил, уловив блеск отцовских глаз.— Сколько добра ни копи — все прахом пойдет. А я жить хочу.

Молодой Крень приложил кулак к груди и низко поклонился. Но отец слезливо сморщился, крупные веки накрыли глаза («Ишь, комедию играет»,— мелькнуло в голове у Михаила), и, качнув лысой головой, он просительно заговорил:

— Не нать, сынок. Всякое царствие, разделившись, опустеет. И всякий дом, ополовиненный, не устоит. Смотри время како. Изба наша — крепость наша.

Михаил молчал. Он смотрел неотрывно, как крутился в отцовых руках заступ, грязня рассыпанные подвязки кальсон. И вдруг прямым тычком будто приложил шкворень к груди отца, а второй рукой прихлопнул сверху. Старик ойкнул и, подломившись, молча опустился на навозные половицы.

Он лежал на спине, а Мишка, не глядя на отца, плюнул на ладони и обтер их о полушубок, потом собрал деньги и сверток сунул за пазуху. В избе поднял мать и грозно, по-отцовски прикрикнул:

— Поди старика подбери. В амбаре лежит.

Пелагея, сонно мигая глазами, еще долго соображала, что случилось, потом бросилась к двери. Но вернулась к сыну и спросила:

— Сейчас бежать или погодить?

Михаил не ответил. Тогда Пелагея пожала плечами: пойми тут, разбери вас. И полезла на печь за фуфайкой.

В эту ночь младший Крень спал очень крепко. Так не сыпа́л он с той самой поры, как пошел на зверобойку. И впервые не качалось во сне тело, и сердце билось удивительно покойно и умиротворенно.

6

Ване Тяпуеву надоело охранять Петенбурга. Поставили у двери часа на два, пока начальник из губернии пообедает, а потом началась такая заваруха, и нет ей ни дна, ни покрышки. К тому же старика на хлебное довольствие не поставили — так не помирать же ему здесь. Раза два милиционер притащил поесть из дому, скудненько, но принес — сами не ахти что едят. Потом с утра сбегал к уполномоченному, который стоял на квартире у председателя артели. Но был тот навеселе и от Вани Тяпуева отмахнулся пьяно: мол, отстань от меня, и добрые глазки хмельно щурились на широком лице. Ваня Тяпуев посмотрел в эти глазки и понял уполномоченного так, что Парамона можно и домой выгнать.

Ваня окликнул Петенбурга еще снаружи, но Парамон признаков жизни не подавал. А когда Тяпуев зашел в сельсоветскую комнату, которую запер с вечера, чтобы не сидеть рядом с ружьем всю ночь, то увидел, что Петенбург лежит на столе, залитом чернилами, и руки у него крестом на груди.

— Ты чего, аль помер?— спросил Тяпуев, боязливо приближаясь к Парамону.

Тот не отвечал и, не мигая, смотрел в потолок. Ваня пригляделся внимательнее к Парамоновой груди и установил, что она колышется.

— Ты чего шарманку играешь?— спросил он грозно, и большие уши его зарозовели.— А ну, поднимайсь.

Тут тебе не санаторея, а казенное помещение, и радива нет, чтоб тебя развлекать.

— Уйди, Ванька, христом прошу. Соборовался я ныне и жду избавителя.

У Тяпуева от таких слов холодные лезвия скользнули по спине.

— Как так помирать? Здесь, Парамон Иванович, вы не имеете такого права, чтобы помирать. Вы домой подите, там можно.

Милиционер потоптался у стола, не зная что предпринять: то ли бежать к уполномоченному, то ли старика стягивать со стола. В это время Петенбург шевельнулся и глухо спросил, скашивая глаза в сторону Тяпуева:

— Юлька-то как?

— Плоха ваша Юлька. Бабы сказывали, что до утра не протянет,— соврал милиционер и попал в самую точку.

Эти слова живо подняли Парамона. Он ушел, минуя Тяпуева, не сказав здравствуй-прощай.

Дома Петенбурга ждал самовар. Он свистел как оглашенный, даже чайник на конфорке подпрыгивал. Марья Задорина сидела спиной к двери, а когда морозный пар бросился в ноги, живо вскочила, приткнувшись кривой спиной к бревенчатой стене.

— Ну, каково?—настороженно спросил Петенбург, отмечая про себя, что эту женщину не упомнит, но где-то вроде бы видел ее.

Мысль скользнула незаметно, вторым планом, потому как Парамона прежде всего интересовала дочь. Не дождавшись ответа, он промчался в комнату. И еще открывая голубую дверь, увидел спокойное, спящее лицо дочери.

— Слава те осподи, доченька, голубанюшка ты моя ненаглядная,—упал он на колени и уткнулся лицом Юльке в ноги.

Парамон поднял зареванное лицо, вгляделся в Юльку, поймал слухом ее сонное бормотанье и глупо заулыбался.

— Дедко,—услыхал Парамон просящий шепот,— а дедко, ты давай не буди девчонку. На поправку, кажись, пошла.

— Спасибо тебе, странная гостья, благодетельница ты моя. Как тебя зовут-величают? — растерянно бормотал Петенбург уже на кухне, рассматривая гостью.

И снова мелькнула мысль, что вроде видал он когда-то эту женщину.

— Не признаешь, Парамон Иванович? Как в Дураково-то наезжал, всегда к Задориным на ночеву останавливался,— просительно улыбалась Марья, а сама молила глазами, чтобы скорее закончился этот трудный для нее разговор.— Марьей меня зовут, может, помнишь монашенку из Келий, ты же мне конфеты привозил, осподи, да когда девчоночкой была... Ну, ты садись, чайку горяченького попей, а там потихоньку и вспомнишь.

Она обмахнула полотенцем любимую Парамоном глиняную кружку и будто век прожила с Петенбургом, и все его привычки ей были известны, налила того коричневого, как палый осенний лист чаю, который так любил Петенбург. Налила столь темного чаю, что блеск зеркальный давал,— и этим очень ублажила хозяина. Парамон длинными пальцами прихватил блюдце, придвинул ко краешку рта и шумно дунул: когда наливал, так по коричневой влаге поплыли целые гроздья пузырьков. А по поверью, это к большим деньгам, потому такой чай сразу пить и грешно. Петенбург пил и присматривался к гостье, в душе пережив целую бурю чувств от изумления до тихой грусти, ибо это, действительно, была Марья. Хорошо сестреница Нюрка тут не привелась, а то бы... И будто ненароком приметил, что глаза у Маньки по-прежнему чисты, только осенняя грусть в них, и губы четкие-четкие, лишь тоскливые складки в уголках. А как заговорила Марья, показала молодые зубы. Ну, прямо совсем девка, только вот спина...

Уводил Парамон глаза влево-вправо, да только лезут в лицо кривые плечи, и оттого неловкость связывает язык: «Как бы не тяпнуть чего лишнего».

— А слыхали мы тут, что померла ты. Я и в поминанье тебя записал.

Марья внимательно смотрела на Парамона, и на глазах закипали слезы. Она так и заплакала, не поставив блюдце на стол: оно волновалось в ладонях, го-

товое выскользнуть, а слезы, очень крупные и частые, катились в бурый чай.

— Эк тебя, Марьюшка, запотрафило. Солона слеза душу ест. Ну хватит-хватит,— уже совсем растерянно сказал Парамон.

Пересиливая сонную тяжесть в голове, как сквозь ватную преграду — так трудно было,— потянулся к Марьиной руке и погладил ситчик рукава. И благодарно улыбнулась Марья, высветлилась лицом, словно что-то тронулось в ней.

— Уж не знаю, Парамон Иванович, как и высказать, — гостья неловко затеребила уголок вдовьего платка.— Небось слыхал, что со мной сдеелось. Как ребеночка-то понесла, да мертвого, потом от горячки едва на тот свет не отправилась. Да вот ушла от смерти, оклемалась.

При этих словах снова подхватила Марья Задорина уголки монашеского платка и прошлась ими по мокрым ныне глазам. Шумно высморкалась, и когда заговорила, то лицо стало светлым и растворилось горе за давностью лет. И рассказала она «старопрежнее» так, будто и не с ней приключилась беда.

— Агния-то полагала, что помру я. Отпели меня, соборовали и ладонкой помахали под носом, как я уже бесчувственная была, и словно из меня все нутро вынули. Но коим-то чудом настропалила себя, благодарение осподу, на жизнь и до сей поры живу.

Марья расправила на коленях застиранную юбку, аккуратно распрямила морщинки на грубом рядне. Повела рукой так, будто приласкала по голове любимое дитя. И вздохнув, приготовилась рассказывать длинно и торжественно.

Петенбургу было совсем невмочь: чувствовал он, как боль поднялась выше и уже не тоненько льется, а рывками, резко так, словно бы под горлом, да потом еще эта проклятая слабость. Стол плавно уходил из-под руки, зыбким становился стул, и Марья шатнулась и поплыла куда-то в сторону.

Но Петенбург заставил взять себя в руки, потер виски — и вроде бы полегчало. Вслушиваясь в рассказ Марьи, Парамон словно просматривал и свои собственные внезапные воспоминания, которые вдруг приобрели силу необыкновенную.

В тот самый день, двадцать пятого июля девятисотого года, когда по Вазице прокатился слушок, «мол, Манька Задорина, монашенка из Келий, сколотного родила», еще холостой парень Парамон Селиверстов решил ружьишком побаловаться. А потому опоясался потуже вязаным кушаком, харч в пестерь сложил, ружье старенькое «ремингтон» прихватил.

— Пойду в лес сброжу, может, на варю что сосмекаю. А нет, так хоть ноги убью,— сказал отцу, выходя из избы.

И когда спускался под угор к замелевшей Вазице и пока выталкивал на быстерь, катаясь по няше, легкую лодочку, все чувствовал на себе отцов взгляд, а, разогнув занемевшую спину, увидел его лицо в окне и шутливо погрозил пальцем. Потом растаял дом, и деревня, подковой вбитая вдоль речки, поначалу отдалялась очень даже лениво, пока не подхватил лодочку поворот. Тут и проглотил Вазицу грустный лохматый остров. Дохнуло болотной сыростью. Сова, опираясь властно на крючковатую хонгу — сухую голую деревину, свесила вниз любопытную голову.

Парамон взглянул в слепые совиные глаза, плюнул брезгливо и, откинувшись назад всем телом, резко выдернул лодку в очень спокойное озеро. В дальнем заливчике, как раз напротив Келий, поставил лодку на прикол, но сразу в лес не удалился, а опустился отдохнуть на моховую кочку.

А вот и солнце скатилось за тайгу. Оно мягко прорисовало дальние синие стены на речке Пые, затушевало мелкий березнячок на ближнем берегу озера, и от редких, но сильных сквозных лучей вдруг засияли чисто и радостно паутины, что развесились под самым носом. Но тут ворохнулся из-под черных корневищ вечерний ветерок, солнце окончательно скрылось, и что-то покатилось и зашумело за тем дальним моховым бугорком. Вздрогнул Парамон, сплюнул через левое плечо, чтобы отвязалась нечистая сила. Сам он лешего не видал, но Санька Голубин баял, что с лешим водку пил — страшен он: волосатый и зубы гнилые. А еще рассказывают, что завести он может в леса и опутать, а сам в это время на деревню спешит: бабу, если есть в доме, соблазнять. Жена у лешего уродина, вот и ищет кралю себе, чтобы омолодиться. Парамон сам

видал, как баба Ганя во время косьбы — а муж о ту пору был на Мурмане — вдруг отбросила в сторону косу-литовку, задрала сарафан и давай бить себя по голому телу, приговаривая: «Вот тебе, леший, вот... Ниче не получишь». И все женки разом заговорили: «Однако нашу Ганьку леший забират».

Сплюнул еще раз Парамон, крестами себя пометил — так-то спокойнее — и пошел прямиком, таежной целиной, изредка сверяясь по затесям: здесь все знакомо ему, каждая травина, на которую уже легла вечерняя влага, и каждая ягодная кочка, на которой можно найти чухариный пух.

Ветви березняка часто стегали по щекам. Петенбург досадливо морщился. А когда в очередной раз еловая лапа сбила с головы шапку, нагибаясь за нею, он вдруг уловил частую, но легкую поступь.

Сразу же под склоном лежала песчаная тропка, и, видать, навстречу Парамону шли люди. Парень успел только встать за тяжелую деревину и смирить дыхание, как увидел манатейную монахиню Агнию, высокую сухую старуху с суровым длинноносым лицом. Она осеняла вкруг себя золотым крестом и кричала: «Изыди со-то-на». Сзади шли монашки в черных сарафанах, шли и подпевали: «Ве-чная па-мять...»

Черное покрывало за спиной Агнии взлетало крыльями, и что-то птичье и зловещее было в косом наклоне плеч и остром лице ее. «Чистое дело, ведьма», — подумал Парамон, и от такой мысли у него захолодела спина.

Строительница скита повернулась к монашкам, взмахнула крестом. Ей поднесли и положили у ног белый сверток.

— Велико, выше природы чудно и славно девство. Это питие, которое источается не землею, но небом, — начетчица длинным перстом очертила воздух, склонила колени и повалилась в сухой песок.

Снопами легли вкруг нее монашки, поползли к Агнии. Чудно было это, чудно и страшно.

— Горе миру от соблазнов, горе и тяжкий грех растлевают нас. Вглядитесь в души свои и разглядите там черноту. Но вдвойне горе будет тому, кто приносит соблазн, да не будет ему утешения...

— Осподи!

— Да лучше зубами грызите плоть свою, псам кровожадным отдайте на растерзание, но только чтобы в небесные врата войти чисту и непорочну. Да помянем в молитвах наших блудницу Маньку Задорину, пусть очистится душа ее на том свете. Вечная память.

— Ве-чна-я па-мять, — пропели монашки.

— Помолимсе за дите ангельское и за грешную сестрицу Марью. — Агния осенила себя крестами, отряхнула песок с колен и уже раздраженно добавила: — Чтобы не блудить у меня. Знаю, побегиваете в деревню. Поймаю, казню лютой карой. Аминь.

И пошла манатейная монахиня, указав в сторону пальцем. И ближняя, самая древняя старуха подхватила куль и отнесла в сторону. Но только скрылась за поворотом тропы, как Парамон склонился над свертком: ребенок, видно, живой, потому что испарина на толстом красном носике. Чудно Парамону: своих детей нет, холост еще, а тут на-ко... Робко кашлянул, не зная что предпринять. Оставить нельзя: птица заклюнет, лиса ли, волк загрызет. А в деревню тащить: опять же позора́, вот, скажут, с кем монашка водилась-якшалась. Да и как выкармливать дите? Человек — не скотина, через край из ведра не напоишь. А такой соску не примет. Марью-то поминали... Померла, однако, девка.

От столь прустных размышлений приуныл Петенбург. Долго вглядывался в крошечное лицо... Про Креня-то не зря на деревне болтали. Вот она жизнь, сколь поперечна и нескладна. У одного с самой зыбки все для произрастания постоянного имеется, а другому... Может, уряднику сдать: вот, мол, ваше благородие, Лексей Митрич, тут, в лесу, подкидыш затерялся. Но не поверят ведь, по судам затаскают-замытарят, каторгу пришьют. Не рад будешь, что и связался.

«И что я губами расшлепался? Ну есть я, а мог и не быть. Леший притянул за руку, ведь ничего не видел, лесом шел. Дай, думаю, дичинки постреляю, наварю что сосмекаю: мати мясной отвар нужен, животом совсем плоха. А тут на те.

Вон как с Лешкой Губаном случилось однове, а может, и к лучшему это. Напился в деревне у тети Дуни, до краев винища налился, в сени уполз отсыпаться. Так никто и глазом не повел: у Губана это в натуре. И сестреница моя, жена ему, сколь и не бесчувственная была:

душа не взыграла, не заныла. Стакан браги на лоб приложила и опять за песню принялась. На ночь глядя, все по домам, а Нюрке, сестренице, надо на хутор попадать. Отыскала мужика в сенях, в бок-от его пинат да приговариват: «Ой, сколь не боров, окаянный, опять нализался, тащши на горбу, и почто на меня этака морока навязалась». Хоть и сестреница мне Нюрка, но ругатлива. Обругала-обкастила мужика, чунку взяла у хозяев, Лешку на санки-то закатила, веревками примотала, а гости хохочут только: «Досыта вина наелся».

Потащила Нюрка мужа, а морозина была — вороны на лету колеют. Губану что — полеживает себе, в нос не дует, раз везут его, как барина. Через мост тащит Нюрка санки-то и вопит: «Вот свергну с моста да слегой по бокам перетяну, боров бесчувственный». К избе-то подвезла, веревки распутала, пинат мужа ногой, но не столь больно, чтобы до синяков: «Ну чего, ровно утельга, развалился? Поди, давай, в избу, ведь заколеешь совсем». А мужик лежит и рукой-ногой не шевельнет. Качнуло тут Нюрку, пала она на колени: «Да, однако, Лешенька, ты не мертвой ли?» А Лешка-то мертвый и есть. Дак ведь как уревелась Нюрка, а еще на сносях дохаживала. По судам таскали... Да только что с брюхатой бабы возьмешь? Ведь сколь была до этого ругатлива, так стала ныне ниже травы. Как-то теперь с дитем одна разживается?»

...Сам с собой наговорился Петенбург. Только собрался уходить, как в свертке заворочалось, густо заревело. Оглянулся испуганно Парамон, словно недоумевая, откуда такой шум, руками развел, будто за ним подглядывает кто, значит, иначе и поступить невозможно. А дитя не унимается.

— Гу-гу-гу, — сложил Петенбург губы дудочкой, потом козу сделал пальцами, сморщил рыжеватое лицо. — Ох-те мне, — совсем по-бабьи всплеснул он руками. — Кандалы я на себя наложил. Просто шел, дай, думаю, посмотрю, что под кустышком лежит. А так чего, я ничего... Ты на меня свои права не накладывай.

Но слова не помогали. «Я понимаю, что ести хошь, дак титки у меня нету. Чего тебе сунуть?» Развернул Петенбург пестерь, порылся на дне, достал житнюю шаньгу с подливой — мать пекла на дорогу. Горячие-то они уж больно вкусны. Откусил, разжевал, слюнявый

жевок завернул в тряпицу и сунул в раскрытый рот. И словно запнулся сверток: умолк, зачмокал. «Ишь, тоже человек... Вроде и не человек еще, а уж и человек». Петенбург поднялся, шага три в сторону сделал. Ну сами посудите, куда парню молодому с подкидышем деваться? «Богу — богово, быват, и простится». Но подозрительно смотрели из свертка крошечные глаза.

— Ну что я с тобой делать буду, а? — чуть не заревел Петенбург. — Тебе же титка нужна... Разве только к Нюрке, сестренице подкинуть? А что, может, и к Нюрке. Нюрка у меня есть, сестреница, понял? Небось все понял, только прикидываешься дурачком. Ну, ляд с тобой, не бросать же тебя.

Парамон перекинул ружье через плечо, сверток засунул в пестерь, да так, чтобы голова выглядывала: «Не задохнулось бы дитя, упаси боже, на душу такой грех принять». Лишь к утру он добрался до хутора. Приготовился увещевать сестру, но та встретила брата без особых удивлений. Нюрка возилась у шестка, собиралась скотину поить. В зыбке вздыхал сын. Сестра не заохала, только руками всплеснула, выслушав брата.

— Дак он, быват, ись хочет. Ишь, под глазенками голубой блеск. Сиротина ты моя, никто тебя не приголубит, не приласкат.

Нюрка заплакала, рыжее, как у брата, лицо поглупело от слез. Не стесняясь Парамона, расстегнула кофточку и достала большую грудь.

— Ешь, а то молоко замучило: не знаю, куда девать. Мой-от едок плохой, — так Нюрка увещевала младенца, а сама ревмя-ревела. — Ты знашь, Парамонушка, оставь его у меня. Быват, прокормлю. Сиротине-то у сироты легче разживаться, как-нибудь перебьемся. — И привычно распеленала — освободила дитя от тряпок, закрестила чистыми, положила в зыбку рядом со своим.

— Ну и Нюрка, — удивленно протянул Парамон. — Не ожидал...

— А чего ждать-то. Беда научит... Ну, давай, чаю не хошь, дак поди. Родителям привет, совсем меня забыли на стороне. О робеночке помолчи пока, а то пойдут разговоры: вот, мол, не успела мужа схоронить, как нагуляла Нюрка сколотного. А ведь в нашем роду гулящих не было. — И уже на пороге остановила брата: — Как дите-то обзовем? Без имени кака жизнь?

— Для него нынче всякое имечко гоже. А хотя бы Акимом.

И когда вернулся в Вазицу, сказал родителям:

— В лесу хоть шаром покати. Все переели. — И, между прочим, добавил, клонясь над чашкой с супом: — В Кельи заглянул, так сказывали, мол, Манька Задорина мертвого родила. Да и саму отпевать готовы.

А у Нюрки, словно чувствовала она бабьей своей душой, родной ребенок не зажился: где-то через месяц, ну, может, чуть больше, схватил простуду, сначала чихал, потом стал реветь, сорвал пупок и вскоре помер. Нюрка свиделась с братом, на коленях стояла, христом-богом умоляла хранить тайну. Потом посетила Вазицу весть, что Марья Задорина скончалась, и Нюрка совсем успокоилась. Да и Петенбургу легче стало, потому как испытывал он постоянную тягость в душе и некоторую виноватость перед всеми.

И вот на тебе, будто с погосту возвернулась Марья, хотя с того света, кажется, еще никто не приходил. Но ведь сидит напротив жива и невредима, только разве перекосило ее, словно прошла сквозь все круги ада.

Марья, окунувшись в воспоминания, на Петенбурга уже не глядела, а, протирая до скрипа шершавой ладонью кромку стола, говорила-изливалась печальным тонким голосом:

— Как оклемалась тогда, так и прогнала меня Агнея, будто скотину позорну да бессловесну. Дак думашь не обидно было, когда со мной так обратились, на дитя рожоно взглянуть не дали. Пускай гуляща была, дак все одно любила я, свое дитя выстрадала, под сердцем выносила. Думашь, душа-то не болит? А тут прогнали чуть ли не палками, да только псов цепных и не напустили. Дак думашь, не поревела я, слез не повыплакала, коли вечером и пропинали, как стерву последню. А в леси-то шум гудит, меня всю будто травину качат, ступить-то ладом не могу, всякая косточка болит да не на своем месте. Так и пошла приступочкой: как сяду — так посижу, как ладу — так едва и встану. Хорошо, люди добрые помогли.

Отвезли меня до Степаниды Миныкиной, быват, ты знашь, свояченица мне не столь и далекая — по отцу

двоюродница. Неделю я на лавке пластом лежала. Лежу дохлой пластиной, чую, как вот через стенку, будто кто меня словами донимает. И Стешу вижу, а языка вроде нету. Отнялся язык, и жевок в горле стал комом и проглонуть его силов нету. Отнялся язык. Столько слез во мне накопилось. Ой, уж исстрадалася, дак можешь нет поверить, Парамон Иваныч. И думала поначалу, а сколь люди и не злыдни, и твари бесовы, и душа-то у них чернее ночи. И тако неверие пало на людей, что и жить невмоготу стало.

Степанида-то отпаивала козьим молоком, а я как барыня лежу-полеживаю. Как малость ожила, приплелась в Дураково. Только на мне лица нету: кто встрету падет, быват, не поверишь — не признают, ровно чужу минуют, и ни одна прощеголенка не остановит. Давно ли, кажись, подружками бегали. Вот сколь я тогды страшна была. До избы-то доползла, упеталась вся. Доски-ти с ворот сколонула, в избу зашла. А как порог-от переступила, так и омлела. Батюшки, а что там только не деелось. За несколько лет все грязью заросло, крыша прохудилась, дожжинушка сквозь потолок бежала. Встала я у порога стоймем, и не своротишь меня. Сразу на ум мати пала: коса-то у нее кака была — три раза вкруг головы обоймешь и еще столько останется. Вот и пала на ум эта коса. А на кухне темь, и думается мне: вот маменька из запечья выйдет. Тут и худо со мной сдеелось, так и легла-повалилась на грязны половицы. Робеночка-то всего изжалела. Агнею, скотину, искляла. Хотела по судам рядить-жаловаться, да только кака наша власть: любой пнет ногой под зад да надсмеется.

А потом морозы пошли, снег посыпал, колеть я стала. Да сколько не горюй, а пить-есть надо, коли руки на себя сразу не наложила. Вот так и зажила. Тут и сосед вдовый — знашь небось Кольку Вешнякова — пригляну\лся. Стал он за мной ухлестывать, да в избу забродить неоднове, так и оттаяла я, вроде и весна ко мне постучалась. А уж любви-то, правда, не получилось. Может, от того и дети не пошли у нас.

В двадцатом-то годе наваг много попадало. Дак с навагами в город поехал, а малица-то у него была нова, хороша. И потом, знашь-ти, приехал в Золотицу — весь вспотел. Ехал-то подле морю. А там у него

тетка была, в Золотице-то. «Дай мне, — говорит, — тета, попить». Распрег лошадь, да квасу-то с жару напился и потом заболел. В город как приехал, не покатился, говорит, теплой воды стакан. Так вот и заболел. Правда, еще в море ходил в тот год. Пришел тогды и слег. Повалилсе, и вдругоряд я осиротела. Приходится мне одинакой страдать. А однове где-то простуду прихватила, а может, и от нервы приключилось, но получила я ревматизму прокляту и в одночасье скрутило тулово. Дак нынче опять встретят знакомы женки — не признают ведь.

Мне перед смертью мужик-от несколько мешков муки привез, вот и не маялась голодом. Только люди ести хотят, дак уж столько людей прокормила. И вот, с семьей-то баба не человек, а без семьи и вовсе полчеловека. По хозяйству пообряжаюсь, а много ли одной надо: сухой корочки хватит. Но только стала душа плакаться, глаза от слез болеть. Поверишь нет, Парамон Иваныч, с людьми-то вроде шумно, а без людей и вовсе каторга. Стали донимать думы: мол, поезжай-ко, Марьюшка, в стары места да проведай людей, каково-то они разживаются, да поищи могилку сыночка единого: быть может, предали земле по христианскому обычаю.

Тут Марья Задорина вытерла тыльной стороной ладони обсохшие губы, платок на голове к затылку сбила и только тогда внимательно глянула на Петенбурга. Всмотрелась и заполошенно замахала руками, потому как обличье старика было ужасно больным.

— Парамон Иваныч, что с вами, Парамонушко? — настоятельно затеребила Марья старика за плечо.

Но Петенбург сидел и молчал, прикрыв голубоватые глаза, и желтые больные тени резко легли на висках, а испарина крупными росинками высыпала на лбу. Марья подхватила его под плечи и поволокла на кровать. Старик не сопротивлялся и дал себя уложить. Минут через десять Петенбургу стало легче, он открыл глаза и даже пошутил, кривя рот:

— Ну, старой развалине пора на погост.

— Да что ты, господь с тобой, Парамонушко. В твои-то годы о смерти думать? — ответила Марья.

Тут пришла тетка Анисья. Уже узнала, что старика выпустили, и поспешила навестить.

— Что, плох дедко? — спросила у Марьи.

Но не успела Задорина ответить, как Петенбург открыл глаза, и на остром лице мелькнуло подобие улыбки:

— Рано хоронить задумали. Ты, Анисья, вот что, приходи-ко вечером. У меня рыба хороша есть, да бутылка вина начата, дак мы за Юльку, да мое возвращение, да за Марью-гостью напьемся и песенок попоем.

— Лежи давай, — нарочито строго буркнула Анисья. — Тоже мне питух.

— Ты, Анисьюшка, приходи вечерком, — повторила просьбу старика Марья и полезла на печь. — Ох-ох... Косье старо погрею да вздремну немного.

Вечером тетка Анисья пришла. В кухне было сумрачно и тихо до неприятности. Только изредка на печи постанывала и всплакивала во сне Марья, видно, что-то печальное привиделось ей. Анисья Задорину будить не стала, а тихо окликнула Парамона:

— Дедо, каково разживаессе? — и повторила, чуть помедлив: — Эй, дедо...

Что-то смутное и страшное надвинулось на нее. Ведь как ни ожидают смерть, но она каждый раз приходит внезапно. Анисья, почему-то затаив дыхание, на цыпочках подошла к Парамону и пугливо тронула за руку.

— Марьюшка! — закричала тревожно, — засвети огонь. Дед-то помер, однако.

Чтобы не пугать Юльку, деда перенесли в дом тетки Анисьи. Лысый прозрачный звонарь всю ночь читал псалтырь. Впервые за много лет он тонко и бесслезно плакал, и его пришлось отваживать водой.

Петенбурга хоронили в обособицу. Миновали деревенское кладбище по пояс в снегу — столько его навалило в последнюю пурту, что едва проторили тропку, — и на узком крутом мысу, там, где Иньков ручей впадает в море, вырыли могилу. Вазицкие женки ходили смотреть ее, еще неуютную и черную. Деловито судили:

— Суха Парамону могилка-то.

Тетка Анисья, овдовевшая прошлым летом, грустным голосом поверяла:

— А моего-то хоронили, дак сырости сколь. Хоть белье полощи. А тут что, одна благодать лежать-то.

Через два дня Парамона Ивановича Селиверстова, по прозвищу Петенбург, спрятали в землю и поставили на берегу высокий поморский крест. Так повелел однажды старик: «Хочу вечно зрить море».

7

Утром младший Крень подошел к отцовой кровати, что стояла у русской печи. Раньше на ней спала бабка, но она давно уже померла, потому обычно на ней ночевали гости. Но Пелагея едва приволокла мужа в кухню и закатила на эту кровать. Федор дышал хрипло, при каждом выдохе что-то булькало внутри. Мишка подошел к отцу, склонил лысеющую голову и спросил:

— Батя, каково чувствуешь?

Отец не ответил, потому как был без сознания.

Мишка сказал матери, что поедет к старому приятелю Прошке Явтысому оленей купить, а через две недели, как только Юлька Селиверстова встанет на ноги, так и свадьба будет.

— Ты что, сынок, уж и слюбился с нею? Удобно ли нынче со свадьбой заводиться? Вон и Парамон под стражу забрат, — сказала Пелагея.

— А неужли откажут? — ответил Мишка. — Да я...

— Господь с тобой, сынок,— уже зауспокаивала Пелагея. — Кто противу тебя осилит? Сряжайсе да поезжай, бог даст, все образуется.

Сразу после обеда Мишка запряг жеребца в легкие санки и к вечеру выехал на Мегру, больше не глянув на отца.

Старый Крень лежал на смертном одре очень спокойно. Дыхание едва волновало атласное толстое одеяло, и только редкие хрипы нарушали горестную, пропахшую могильным тленом тишину. Пелагея неспешно подносила тяжелое тело к кровати, пытаясь заговорить с мужем. Старуха ловила в его давно ли красивом лице свое, знакомое выражение, ну, что ли, строгость и власть прежнюю, к которым так привыкла и даже ныне скучала. Но видела только печальную сухость щек и сливочную желтизну лба, а в подкрыльях

носа уже мертво лежали серые постоянные тени, и высохшая голова заметно таяла, угасала в сальной подушке.

Крень уходил из этого мира отчужденно и спокойно. Но сердце его билось упруго, боясь смерти. Оно не умолкало и не уставало, это сердце, и упрямо сражалось с Креневой душой, которой все так осточертело. Крень упрямо не отворял глаз, упорно сдвигая все свои мысли к предстоящей смерти. Он молил ее, и от такого навязчивого желания все постороннее и глуше становился голос жены, а ноги, что вчера так нестерпимо мерзли, сегодня совсем ушли от него. Только порой где-то в уголке сознания вспыхивала сердитая картина: лопата, удар, навоз лезет в рот. И тогда внезапная искра зло прожигала тело, вызывая в правом боку мгновенную нестерпимую боль. От нее-то и хрипел старый Крень.

А однажды, случилось это два дня назад, Пелагея устало шепнула в Кренево ухо: «Петенбург-от помер». Но лицо Федора было безмолвно, и не колыхнулись на нем серые тени, и только, словно легким воздухом, омыло закрытые глаза. Под вечер, очевидно, устав умирать, а может, по другой какой причине, только он впервые открыл глаза, и откуда-то из беспамятной глубины вынырнул лучик сознания. Шевельнулись тонкие губы, вызмеились в больной улыбке, обнажив чернеющие от голоданья десны. А потом волна сознания широко растеклась по лицу, мягко так прошла по морщинам, чуть оправила их и вдохнула в сухую дряблость щек едва уловимую алость.

Видимо, последнее известие оживило старика, потому что Крень повторил:

— По-мер, го-во-ришь?

— Да-да, царствие ему небесное, преставился Парамон, — отозвалась Пелагея.

Посторонние слова о смерти своего странного приятеля словно приподняли больное тело, а где-то, как отзвук на эти слова, среди полнейшего тупого безмыслия появилась ощутимая радость — отзвук каких-то ранних настроений и переживаний, которые совершенно забылись.

— Помер Петенбург-от, помер,— бормотала старуха, вытирая мужу внезапно вспотевшее лицо.

Крень опять закрыл потухшие глаза тяжелыми веками, и только хрип выдавал, что он жив еще.

Через два дня Федор, правда, не без помощи Пелагеи прибрел к столу. Он сидел на своем постоянном месте, сухой и маленький, удивительно повторяя теперь своего отца, и только бугристый лоб выдавал прошлую силу. Пелагея, чувствуя всем телом взгляд мужа, пробовала заговорить, чтобы хоть немного снять с себя непосильный постоянный страх. Но Крень молчал, только изредка, словно чужую и постороннюю, подносил костистую руку к седой голове.

Суп он хлебал вяло, дрожащая рука останавливалась на полпути, кренилась набок, и тогда щи грязнили рубашку. Порой он порывался что-то спросить, может, о сыне, может, о Петенбурге, могилу которого так хотелось навестить, чтобы убедиться в смерти Парамона. Ловя эти мимолетные движения, Пелагея готовно подавалась всем телом вперед, но ни звука не проронил старый Крень. И чуть позднее, когда придут к нему незваные гости, он только и скажет: «Все берите. Все-все... Нищим родился, нищим и поплыву на тот свет».

*

Получилось так, что Аким Селиверстов, к утру добравшись до Койды, узнал, что фельдшера там нет, нет его и в Мезени, потому как в дальних заканинских деревнях появилась испанка, и оба фельдшера срочно, еще неделю назад, выехали к морю. И к тому же упала на Зимний Берег редкая для этих мест пурга, навалила снегов по лошадиную холку и надолго перемела и без того ненадежный зимник. Две недели пришлось Акиму высидеть в Койде, а потом с пустыми руками и горькими мыслями возвращаться в Вазицу. Тут-то и узнал он, что Марьиными усилиями Юлька уже сидит на кровати, а Парамон Петенбург в земле, но Юльке о том не говорят, как бы не случилась с нею горячка.

Аким поздоровался с Юлькой, но в глаза не посмотрел, боясь выдать растерянность и горе, и ушел в сельсовет, где за своим столом нашел Ваню Тяпуева. Тот и поведал все подробности.

Первой мыслью Акима было броситься в дом Мишукова, где остановился уполномоченный в кожаном

пальто и, громко стукнув кулаком по столу, наговорить ругательных слов. Потом внезапная усталость и безразличие навалились на него: видимо, виною была дорога. Казалось Акиму поначалу, что он только на минутку присел на краешек стула, чтобы отошли набрякшие ноги, а потом встать оказалось делом трудным, потому что ничего нельзя изменить — так пусть все катится к чертовой матери. Сейчас он брякнет на стол печать в затерханном мешочке и амбарный замок. И когда уполномоченный и Мишуков зашли в сельсовет, Аким был в том состоянии человеческого духа, когда человеку уже на все наплевать, хочется напиться и уйти в больное забытье.

Аким всмотрелся в рыхлое лицо уполномоченного и заметил, что у того близорукие добрые глаза, но щеки серые и в точках, и оплыли вниз: вероятно, этот человек редко бывал на свежем воздухе. Протянутую руку Аким не пожал, и навстречу не поднялся, и стул не предложил, а так как он был единственный, то гостю из города пришлось стоять. Спохватившись, уполномоченный сунул руку в карман и достал кожаный портсигар, одаривая всех папиросками. Но Аким папироску не взял, все глядел пристально в глаза уполномоченного и заметил боязливую нервическую дрожь век. Злости у председателя сельсовета уже не было, только глухое недоумение и смятение ворошили душу.

Не скрывая недоброжелательства, Селиверстов спросил:

— Тебе чего нужно?

И этим «тебе», резким и грубым, подчеркнул нежелание разговаривать. Но уполномоченный не смутился, только круто шевельнулись желваки.

— Митрофанов... Из губземотдела. Да не смотрите вы на меня волком, товарищ Селиверстов, ей-богу, съедите, — и хохотнув, собрался даже добродушно хлопнуть Акима по плечу, но раздумал, натолкнувшись на холодный взгляд.

— Человек-то умер... Умер человек, — вдруг сказал Селиверстов тихо-тихо, всматриваясь в стол и соскабливая незаметное для посторонних пятнышко. — Понимаешь, дубовая ты голова, умер Парамон Селиверстов, мудрый человек. Ему же Буденный руку за храбрость жал, а ты его в холодную.

— Вы так не разговаривайте со мной,— отрывисто перебил уполномоченный. — Ничего с ним страшного не случилось. Подумаешь, взяли старика на пару дней, пугнули. А он ведь контра.

— Контра, — поддакнул председатель артели Мишуков.

— Почему старика? — повторил раздумчиво Селиверстов, вслушиваясь в слова и удивляясь вдруг открывшемуся новому смыслу. — Ста-ри-ка... А ему всего пятьдесят шесть на рождество стукнуло. А если бы тебя, уполномоченный, пугнуть, а?

— Вы мне шуточки бросьте, не забывайтесь.

Эти слова охладили Акима. Понял он бессмысленность утомительного разговора. Захотелось просто плюнуть на пол и плевок растереть валенком, потом обойти стороной этих людей и пойти домой, где сейчас Юлька небось сидит на кровати, опустив ноги в лохань с водой, и зябко ворошит плечиками от удовольствия. Но что будет с ней, когда узнает о смерти отца? И это случится не сегодня, так завтра.

Аким машинально провел ладонью по щеке, ладонь заскрипела на трехдневной щетине, и, устыдившись своей неряшливости, он отодвинул ящик стола, где рядом с бухгалтерской книгой лежал осколок зеркала милиционера Вани Тяпуева. Легонько напружинил языком сначала одну щеку, потом другую, а захлопнув ящик стола, внимательно вгляделся в уполномоченного, словно впервые заметил его, и спросил:

— Митрофанов, значит? Ну-ну... Так зачем к нам, дикарям, пожаловали?

— Решено у вас сетевязку организовать на весь куст, — сухо сказал уполномоченный. — Мне товарищ Мишуков подсказал, что у Федора Креня большая изба.

Так и случилось, что когда Федор Крень с трудом тащил ко рту очередную ложку щей, в дверь авторитетно постучали. Стук был неожиданным, ибо в любое другое время Крень, сидевший на заглавном месте у окна, еще на подходе гостей к избе поймал бы их взглядом. Тут же вдруг распахнулись двери — и в клубах морозного пара вырос уже знаемый на деревне уполномоченный в шикарном кожаном пальто, в котором было ему, на-

верное, здорово холодно. Потом появился председатель сельсовета Аким Селиверстов в старой шерстяной тужурке с налипшим на нее оленьим волосом — после дороги Аким даже не успел почиститься — и председатель артели Мишуков. Пелагея сразу обмахнула табуретки, придвинула к порогу, но уполномоченный, будто и не заметил ее, прошел к передней лавке и сел рядом с Кренем. Широко сел, уложив громоздкий локоть на край стола и этим здорово стеснив хозяина. Но Крень не шевельнулся, только вроде бы перекосило его набок. Он поймал взглядом Селиверстова, и тому захотелось как можно скорее исчезнуть из этой кухни от тошнотворного запаха овчины и тлена и от полубезумных глаз плешивого старика. А уполномоченный что-то говорил и говорил, а Крень смотрел на Селиверстова, словно бы вспоминал что-то, хотя и не мог ничего припомнить, ибо ничего в прошлом уже не было у Креня, как не было ничего и впереди.

Бабка Кренева плакала навзрыд, раскидав неряшливые волосы по лицу, и не могла ничего путного ответить на вопросы.

— Низ освободите, и горницу мы займем, а вы на кухне можете располагаться и в светлице, — мягким голосом втолковывал уполномоченный. — Так уяснили? — еще раз спросил Митрофанов, уже обращаясь к Федору Креню.

Старик вдруг резко столкнул локоть уполномоченного со стола.

— Люди кушают тут, а ты пачкаешь. Я послезавтра помру, тогда и приходи. Все будет ваше, с собой не понесу.

Пелагеино лицо сразу просохло, она испуганно смотрела на мужа, лаская пальцами фартук, и столь же испуганно оглядывала уполномоченного: «Не дай бог, освирепеет и погонит на улицу. Лишенцы мы, дак куды пойдешь жаловаться».

— Насчет помиранья, дед, ты сам по себе, живи, не запрещаем. А с избой мы сами рассудим.

Последнее слово осталось за уполномоченным.

Только ушли гости, как Крень попросил Пелагею принести «смертную» рубаху, а одевшись в нее и как

бы совсем освободившись от мирского, опираясь на жирное плечо жены, пошел на поветь, где лежала та самая кожаная лодочка, на которой он когда-то приплыл с Моржевца.

Можно было подумать, что Крень только затем и возвращался с того света, чтобы еще раз посмеяться над добротой Петенбурга, «христова воина».

Над дряблой от старости лодочкой Крень скривил плечо и попробовал приподнять ее, но слишком мало было сил, и тогда Федор повелел старухе тащить лодочку в светлицу. Пелагея не удивилась и не возмутилась, а покорно, как старая усталая лошадь, вцепилась в корму посудины и затащила по лестнице в светлицу, туда же потом проводив и Креня.

— Мир, разделившийся в себе, не устоит, — сказал Крень. — Ты поди, старуха, поди. И не вой только.

С этими словами Федор широким взмахом перекрестил себя и, отвергая помощь Пелагеи, босыми ногами ступил на днище лодки, потом медленно опустился в нее — белая «смертная» рубаха спузырилась на коленях, — сложил руки крестом и умиротворенно сказал:

— Ну, тепере я поплыл.

8

Летит молва быстрее птицы и разит больнее пули. Настигла она Мишку Креня в чуме Прошки Явтысого, когда айбурдали — ели мясо после вольной охоты: совсем недавно Мишкин тынзей послушно летал в стадо, плечи наливались силой, и к ногам его, мерцая лаковой красниной в глазах, подползали сырицы — молодые оленихи. Прошка Явтысый, старый ненец с прокуренными зубами, хрипло кричал: «Телеваженка Крень, сырица Крень, хор Крень!» Десять голов взял из стада Мишка, уплатив золотом. Ненец волновался и кусал деньги остатками зубов: уж лет пять не видали глаза Прошки золотой пятерки.

А потом Мишка Крень, выкатывая коричневые глаза, жадно глотал строганину и запивал спиртом и, хмелея от вина и мяса, громко кричал на весь чум, и при каждом крике пугливо поднимала голову молодая жена Явтысого, что ползала на коленях у маленького столика, собирая чай.

— Женюсь... Прошка, слышишь, самоедина, женюсь, — и хлопал по короткому упругому плечу ненца.

От каждого удара чуть подрагивало Прошкино плечо, а в уголках его темных глаз вспыхивали злобные огоньки, но лицо приветливо ширилось и улыбалось.

— Женка молодой, спать карашо. Тепло спать.

Крень хмелел быстро и все чаще хлопал Прошку по плечу, но все терпел старый ненец. Знал он, что люди велики, пока сидят, а встанут — не больше пуночки ростом. Одни люди шумят, ой как шумят — от шума голова, как пустая оленья кость. У Прошки — олени. Но куда нынче олени? Длинные красные руки везде достанут. А у Мишки — золото, большая деньга. Золото можно сделать незаметным, золото может быть горячим и вкусным, как оленья кровь, и жирным, как мясо теленка. Большие планы роились в маленькой голове Прошки Явтысого, в голове, похожей на обдутый ветром одуванчик.

Тут-то, вслед за топотом коня, откинулся в сторону меховой полог, и вместе с клубами морозного дыма вполз на коленях человек. Секунду он еще не был виден, потом встал, широкоплечий и кривоногий, и Прошка Явтысый узнал председателя артели «Тюлень».

Мишуков скинул через голову совик и, не дожидаясь приглашений-упрашиваний, вытащил из котла оленью ляжку. Молчал Явтысый, гостеприимно подливая в кружку спирт, ведь бог Нума не велит лезть по лестнице вверх, пока не провалятся в тартарары тадебции — злые духи. Пусть утолит тело горячей едой старый приятель.

— Сон вчерась видел, — нарушил молчание Мишуков. — Будто бы гоню я лису. Только хочу пальнуть, а она в кусты. Мне жарко стало, весь опрел — штаны ватные, холку натерло, но, думаю, раз тако дело, уломаю тебя, рыжая. И нагнал ее, смотрю, языком снег лижет и меня дожидат. Я ружье навскидку — и бах-бах. А пули, ну видно, как летят. В шерсти у нее путаются, а шкуру не пробивают. И тут оказалось вдруг, что не лиса это, а волк, и грызет он у меня голову. К чему бы это, с перепою, что ли? Попили, правда, вчера винца.

Прошка Явтысый молчал — хитрый он, хитрее песца. Эти слова можно и не слушать: они как дым, только глаза щиплют, но не обжигают. Не затем приехал Мишуков.

Крень тоже молчал, зло и пьяно оглядывая Мишукова. Зачем Путко в чум заявился, нет ли тут подвоха какого? Да и председатель артели, оказывается, тут жданный гость.

Мишуков наслаждался мясом: теленок был молодой, и жилы еще не успели задеревенеть, мышцы — налиться силой. Как приятно, почти не жуя, глотать оленину. Каким сладким кажется спирт, когда льется в промерзшие губы и, словно жидкий огонь, расплавляет напряженное холодом тело.

— Лошадку гоняшь, отдыхать хорошо будешь? — закинул невод ненец.

Уж что-то слишком долго молчал гость.

— Вчерась председатель сельсовета товарищ Селиверстов вместе с уполномоченным посетили избу твоего батюшки, — улыбаясь, вдруг сказал Мишуков и вытер жирные пальцы о шкуры. И эта улыбка испугала и встревожила Креня. — Пелагея за стол садила...

— Небось и ты, артель вонючая, совался? — враз отрезвел Михаил.

Он угрюмо уставился на Мишукова, и тот почувствовал под коленками непонятную слабость и поспешил взять чайник, чтобы скрыть предательский страх. Что-то волчье было в креневском теле, когда он, поджарый и длинный, потянулся вдруг за уплывающей шеей председателя артели. Но Прошка Явтысый резко стукнул по распухшим Мишкиным пальцам.

— В чуме моем ножи не советчики.

— Говори, Путко. Не посмотрю, что партейный... Ведь у вас и папаша-то сволочь был. Ну?.. — и Крень сделал жест, каким отворачивают курице шею.

Мишуков уже овладел собой. Его смуглое, с сединой на висках лицо, опухшее после вчерашнего пьянства, казалось невозмутимым.

— Избу вашу забрали. Сетевязка там будет.

— А я? — почему-то увядшим безразличным голосом спросил Крень.— А я-то куда?.. Олешек купил... жениться надумал... сына хочу.— Мишка не уловил хитрости и сейчас путался в силках растерянности и злобы.

Больше ни слова не добавил Крень, а быстро накинул малицу, вылез, едва не своротив чум. Рядом стояла на приколе ездовая упряжка Явтысого. Забыв о своей

лошади, Мишка схватил хорей, крикнул яро и погнал оленей по снежной целине. Услышав олений хрип и собачий лай, выскочил из чума Прошка Явтысый, крикнул визгливо: «Анэ-э!» — и погрозил кулаком вслед исчезающим нартам.

Аким никак не мог примириться с мыслью, что дяди Парамона уже нет. И щербатая деревянная ложка есть, и стоптанные обрезанные катанцы есть, и глиняная кружка стоит на наблюднике, а вот Петенбурга нет.

Бабка Задорина рассказывала, что приезжала мать Нюра, и Аким представил, как сидела она, постаревшая, с рыжеватым, как у брата, некрасивым лицом и жевала губы. Она никогда не выла по-бабьи, не причитала: совсем безголосой стала мать, и Аким не слыхивал от нее громкого слова. Ему хотелось бы увидеть мать: все собирался навестить ее, но как-то не находилось времени. Ей бы после смерти брата остаться тут, присмотреть за Юлькой, а она почему-то не усидела и дня после похорон. А сколько раз Аким упрашивал ее переехать в Вазицу и поселиться в отцовом доме. Но мать упорствовала, словно дала обет жить на хуторе в обособицу.

Аким пошел на могилу Петенбурга. Снег после пурги осел и застыл тугими застругами, ноги совершенно не проваливались в сугробах. Луна была ранняя и полная: она раздваивала мир, и темнота морозно застывала где-то в нескольких шагах, подозрительная и тихая. Но стоило сделать по гребню снега эти несколько шагов, как темнота стала отступать все ближе к морю, втягивая в себя Акима, пока, оглянувшись, не заметил он безразлично, что деревни уже нет и лишь волчьими глазами мигают огоньки в нескольких бессонных домах.

Крест вырос перед Акимом неожиданно и сразу прямо из снега: могилы не было видно, торчала лишь поперечина с верхней половиной измученного Христа. В это время луна выглянула сверху особенно пронзительно и выявила каждый штрих неизвестного резца, оживила страдальца. Казалось, ему было невыносимо холодно в этом рубище, и он прятал святые глаза в провалы глазниц, чтобы только не видеть бесконечную пашню неба, по которой катились не то горестные слезы, не то тридцать серебренников Иуды.

«Да будь же ты человеком, Акимушко», — вдруг услыхал Селиверстов дядин голос, и кожа на голове сразу «скукожилась» от морозного страха: видно, слишком настойчиво думал Аким о Петенбурге...

«Черт те што получается. Уезжал, вроде все по чести было. Только ноги за порог, и надо же столько накуролесить. И уполномоченного леший принес, и Мишуков, странный человек, паутину вяжет», — Аким рассуждал сам с собой, не замечая, что говорит вслух. Он гладил ладонью лик Христа и, сметая крупицы снега, отметил, между прочим, что крест вроде знакомый. Вспомнилось, что не столь давно он его видел и даже приходилось разбираться по этому поводу... Это же прошлой осенью крест в Чурьиге исчез. Его срубили на берегу моря комсомольцы и собирались сжечь прилюдно, «как орудие мракобесия». Но дело было вечернее, и решили отложить сожжение до утра. И вдруг крест исчез.

Но разве мог знать Аким, что старые вазицкие женки пробрались ночью на «лобное место», привязали к кресту вожжи — ведь штуковина нелегкая, пудов десять тянет — и утащили в деревню. Хватило же смелости и усердия тащить его километров восемь! Потом схоронили крест на повети у старухи-старообрядки Акулины. А когда столь неожиданно помер Парамон Петенбург, то порешили вазицкие женки поставить святой крест на могиле Парамона, чтобы хоть на том-то свете распознал он правильный путь движения души.

Какая-то странная сила обстоятельств кружила Акима последний месяц, словно пошатнулся незримый стержень его обычного состояния: уткнулся носом в непреодолимую стену, а глаза завязаны, и не знает он, куда идти. Да к тому же весь февраль преследуют неудачи: вот в Койду зря съездил, опять же Юлькина болезнь, смерть Петенбурга, артель развалилась — пять семей осталось в ней после путины. А что ждет завтра, послезавтра? Опять что-то нужно делать, кого-то убеждать.

Понурившись, стоял Селиверстов у могилы Парамона и поражался столь бессмысленной жизни вообще, и своей в частности. Вот был Петенбург, человек сам по себе, неуживчивый от своей постоянной доброты и оставшийся ребенком меж двух стихий, хотя, кажется, все огни войн колотили его, и огромные жернова жизни жестоко молотили и катали, ломая тело и душу.

«А к черту все. Тлен кругом, один тлен...» — Аким махнул вялой рукой и пошел в деревню, подгоняемый полуночником, черным сыроватым ветром «с того света, из третьего круга ада».

Марья Задорина в своих постоянных хлопотах, как всегда, обряжалась по хозяйству: вязальные спицы невесело ходили в ревматических руках. На Акима она взглянула по-доброму, как посмотрела бы на своего сына, но расспрашивать не стала, уловив в глазах темную поволоку раздумий. Она проводила Селиверстова взглядом до голубеньких дверей в горницу и, не поворачивая головы, стала прислушиваться, а что там делают ее дети, «сохрани их господь». И, грешным делом, не раз и не два мелькнула мысль, что «парочка порато неплоха, хоть Юлька и некрасовита, зато совестлива, а таких девок нынче поискать. Как сойдутся да привяжутся — там и дети пойдут». Еще Марья подумывала, что не слишком ли прочно осела в этом доме и как бы не пришлось обливаться потом горючей слезой, когда случится уходить отсюда, ведь не век же оставаться тут и мешать людям. И еще подумала, что слишком охотно осела здесь, «приросла задом». Ведь не за этим же перлась эстолько верст, «петалась-убивалась». Так, видно, пора вершить неотложное дело и навестить Федора Креня. Пора и открыться, тем более, что совсем плох он стал и, как сказывала тетка Анисья, задумал помирать. А уж кому как не ему, разбойнику, знать, что с их сыном? А, быват, и могилку заприметил?

Но было страшно Марье Задориной заново встречаться с Федором Кренем, ибо был он в той короткой жизни словно пьяное сновидение, после которого остался лишь хмельной привкус чего-то необыкновенного, и она сохраняла это ощущение в самых дальних тайниках воспоминаний, вдруг однажды решившись разбудить их. И где-то вторым чувством понимала Марья, ставшая от горьких лет мудрой, что эта встреча может стать печальной и ненужной, потому что лишит вдруг странного очарования, единственной радости в жизни. Нет, она не упрекала Креня ни в чем. Не было бы его, появился бы другой: Марья очень ждала тогда человека, способного бурно захлестнуть просыпающийся в ней страх одино-

чества. Ее поразил тогда этот человек, что белугой прыгал в холодной воде Вазицы, раскачивая лодку. Когда скрестились их взгляды, поймала Марья в его глазах тоску от нерастраченной внутри силы. «Ну бог с ним. Каков-то он там?» — внезапно и впервые подумала о нем, как о живом, потому что раньше думала лишь как о чем-то призрачном.

А председатель сельсовета, потирая широкий лоб большой ладонью, смущенно вошел в горницу и оторопел немного, потому что Юлька была безмятежно открыта: она сидела на краю постели в одной бязевой рубашке. Видимо, вода была слишком горячей, потому как Юлька, приспустив большой палец в лохань, игриво ойкнула, подрагивая плечами. Так играла Юлька сама с собой, не замечая Акима. Потом почувствовала на себе посторонний взгляд, подняла лицо, вся зарозовела и нырнула под одеяло. И мог поклясться Аким, что в этот момент Юлька была красивой. Она счастливо выглядывала из-под одеяла — такой Аким Селиверстов еще не видал ее, — а рука сама протянулась для приветствия: это было для девчонки неожиданной смелостью. Смущенный таким поворотом дела — ведь он только что собирался утешать Юльку,— Аким присел на краешек постели и, поддавшись настроению, подхватил ее руку и не отпустил сразу. Бог ты мой, ну откуда можно узнать, что будет через мгновение, но он ощутил вдруг, как запотела теплая тонкая девичья ладонь, и эту ладонь Аким по-мальчишески закачал в воздухе.

— Знаешь, я тебя во сне видела. Я так долго спала, так долго спала,— тихо говорила Юлька.

В ней просыпалась женщина, и сейчас она была смелее засидевшегося в холостяках Акима, а своими действиями окончательно выбила его из колеи. А раз Юлька однажды почувствовала свое превосходство, она и второй раз могла проявить его. И Юлька выдернула влажную ладошку из его шершавой руки, а то «черт знает, что может подумать про нее».

— Я там на льдине-то плакала, как подумала, что ни таты не увижу, ни вас...

— Ну, ты здоровей, — внутренне сжавшись, сказал Аким, потому что разговор мог принять неожиданный поворот и тогда нужно будет рассказывать об отце. — Ну, ты здоровей,— повторил он и вышел.

— Ты куда на ночь-то глядя? — только и успела спросить Марья. — Я на стол хочу собирать.

— Ешьте без меня, — буркнул Аким. — Пойду избу-читальну наведаю, народ там собрался.

В избе-читальне было действительно густо от людей. Уже которую неделю местный учитель Тима Лагутин, хилый черноволосый мальчишка из недавних школьников, неожиданно полюбившийся мужикам ученостью и смелостью, читал «Войну и мир». Читал густым тенорком, брызгая слюной на ближних мужиков, которые беспрестанно обдавали Лагутина кислым махорочным духом. Учитель махал длинными тонкими руками, изредка смеялся заливисто, запрокидывая голову назад, и тогда кадык резко выступал под желтоватой кожей.

«И долго, несмотря на всю горячечную поспешность, с которой толпа старалась довершить начатое дело, те люди, которые били, и душили, и рвали Верещагина, не могли убить его, — читал он пронзительным голосом, вернее, выкрикивал слова, взмахивая ладонью, как бы разрубая пространство надвое. Вернее, так располовинивают шашкой человека, когда он закрывает от ужаса ладонью глаза. — Толпа давила их со всех сторон, колыхалась с ними в середине, как одна масса, из стороны в сторону и не давала им возможности ни добить, ни бросить его.

— Топором-то бей, что ли? Изменщик, Христа продал!» — выкрикнул учитель, размахивая книгой. Она неожиданно вырвалась из рук на сцену, и хлопок этот был подобен выстрелу.

— Душевно читает, как Евангелье,— сказала бабка, сморкаясь в край полушалка.

А учитель поднял книгу, но читать далее не стал.

— Все, баста... До субботы.

Два дня в неделю Лагутин вел ликбез. Он с первого дня написал на доске «коммунизм» — с самого верху черной доски, и это слово не стирал. А кто на оберточной бумаге карандашом повторял его на пятый или десятый раз, того Лагутин переводил в следующий класс. Он был выдумщик, этот учитель.

Он спрыгнул со сцены и смешался поначалу с толпой, вдвойне слабый и несильный. Но странное дело, постепенно выделился в ней, не затерялся, потому как люди обтекали учителя, почтительно уступая дорогу.

Мишка Крень еще утром, опасаясь подвоха, осторожно подъехал к избе: мало ли что мог устроить Афанасий Мишуков. Вдруг дома засада навострила на него свои пушки. Но никто его не встретил, окна были молчаливы, взвоз закидан суметами снега.

Мать он нашел на кухне. Она лежала на печке, простоволосая и опухшая. Услышав, что кто-то вошел, лениво подняла голову и простонала:

— Это ты? Ой, Мишенька, горе-то у нас како.

— Тащи водки. Что это? — кивнул он головой на плотно прикрытую дверь с сургучной нашлепкой.

— А запленбировали, Мишенька, нету нынче нам туды ходу. Все подчистую забрали, — заплакала вдруг Пелагея. — Сначала дед мытарил, рубахи ведь на перемывку нету, Мишенька. А нынче хоть живьем ложись и помирай, и смерть-то пошто не забират...

— Молчи, мать, — неожиданно тихо и мягко сказал Мишка, и этим еще больше разжалобил Пелагею, потому как доброго слова «она в кои-то веки слыхивала».

Мишка пил водку стакан за стаканом.

— Я горячего не варила, ты уж извини, Мишенька, — сказала Пелагея, залезая обратно на печь.

Сын не ответил. Коричневые глаза его были печальны. Не умея рассуждать, он, вдруг заимев уйму времени — ведь до вечера было далеко, — вынужден был о чем-то думать. Хотя бы до тех пор, пока начисто не свалит с ног вино. Злость уже не душила его: самая первая и душная, она была проглочена еще в пути, когда ветер наотмашь бил в лицо. Сейчас злость была словно тугая пружина, скрученная в самом уголке души, и с каждой минутой Мишка все туже взвинчивал ее. И лишь светлый день сдерживал крохотный тормоз, которому все труднее было останавливать постоянную ярость. Мишка так долго шел к своему заветному дню и, наконец, стал хозяином, когда можно зажить вволю, но он никак не мог понять, что этот день запоздал.

Он несколько раз выходил на взвоз, оглядывал деревню. Напротив была изба Петенбурга. Мишка видел, как под вечер вернулся Аким Селиверстов и как потом отправился в деревню. Михаил неслышно соскользнул со взвоза и пошел следом. Та минута близилась, он сознавал ее и желал всем естеством, и ничто не могло уже отодвинуть страшный миг столкновения человеческих

судеб: на каком-то перекрестке коснулись их жизненные линии, а слиться воедино они не могли.

У избы-читальни председатель сельсовета обеспокоенно обернулся, видно, ощутил на себе пристальный взгляд: так нервно чувствует себя в тайге охотник, когда злобно смотрит на него хищная рысь. Но Крень быстро отступил в тень, а когда Аким скрылся в теплом квадрате двери, побежал обратно.

Важенки лежали на снегу, сонно водя боками. Мелкая пороша косо скользила из бездны. Мишка, очень спокойный и сосредоточенный, распутал упряжь, толкнул оленей хореем и погнал по пустынной улице.

...Аким Селиверстов возвращался домой медленно: спешить было некуда. Крахмально скрипел под валенками снег. Вдыхать мягкий от легкого снега воздух было приятно. Ветер шел с моря, чуть влажный и печальный. Он нес с собой легкую грусть и странное ожидание весны, чего-то призрачного и смутного: в такие тихие вечера хорошо думается о прошлом. Какие-то мгновенные картины, совсем неясные, то ли из детства, то ли из срединных лет вспыхивали и тут же сгорали, не вызывая отчетливых представлений.

Тут сзади послышался упругий олений скок, мокрый храп довольно неожиданно ударил в спину, но оглядываться не хотелось. Аким спешно отступил в сугроб, а так как долгие были ныне снега, то и зачерпнул верхом валенок. В это самое время что-то холодное упруго скользнуло по шее, голова резко дернулась назад и, казалось, обломилась в затылке. Аким сразу упал лицом в снег, а руки судорожно ухватились за скользкий тынзей. Акиму чудилось, что это нелепый сон и вот сейчас все кончится доброй шуткой, только стоит чуть-чуть раздвинуть предательское кольцо аркана.

Олени испуганно вынесли нарты за околицу молчаливой деревни. Кое-где тускло светили керосиновые огоньки, едва пробивая толстенную накипь льда. Огоньки были далекие и совсем не земные: около них кто-то обогревался сейчас чаем, кто-то печалился, кто-то любил, и метры эти от мертвого уже человека до живых были бесконечными и жестокими метрами, ибо этого мгновения нельзя было ни повторить, ни запечатлеть.

Крень полулежал на нартах, и тынзей до крови врезался в руку, но боли Мишка не чувствовал, только

уплывающую злобу сменяла холодная тошнотворная усталость. Для него уже не было Акима, как не было ни раскаяния, ни судии, ибо по его, Мишкиному, разумению, судией мог быть только он сам. И если бы сейчас кто-то еще встал на пути, он убил бы его, и второго, и десятого, убил методично и справно, как любил работать Мишка Крень. А ныне душа его закостенела в постоянной и долгой одинокости и нелюбви.

Олени выдохлись и, не услыхав повелительного тычка, улеглись посреди огромного пустынного болота, шумно поводя боками. Крень достал бутылку водки и приложился к остаткам, что плескались на дне. А в пяти шагах от нарт, раскинув руки крестом, окончательно лег Аким Селиверстов, безродный сын и подкидыш, взращенный тугой грудью чужой женщины. Вот так случилось, что не в огне гражданской войны брат убил брата.

9

На окраине деревни в доме Парамона Петенбурга еще долго горел огонь. Улыбалась во сне Юлька, видимо, рассматривала неясный образ своего суженого. Марья Задорина с керосинкой в руке стояла около иконостаса с фотографиями и рассматривала Парамонов род. Сам Парамон снят возмужалым юношей, над верхней губой еще не совсем ясно сереют усики, а рука горделиво и прочно лежит на спинке венского стула. Сестра Нюрка, широколицая и пышная, в юбке с оборками держит на руках ребенка. И отец Парамона тут, и мать, и еще какие-то дальние и близкие родственники. Многих из них уже нет в живых, другие расселились по деревням и городам, и оказалось, что если вести счет Петенбургам, то приходили и уходили они с земли из года в год, и нет им числа. А вот она, Марья Задорина, «сиротина вековечная, и скоро ей на погост, а ведь нажилась, ой как нажилась на этом свете».

Оглянулась Марья кругом, потерянно оглянулась, поставила лампу на белый стол, и стало ей вдруг до невыносимости жалко себя. Заревела она, приглушая душевный крик, а то, «не дай бог, девка пробудится». Потом, глотая слезы, она еще долго лежала на кровати, на которой умер Петенбург, не смыкая глаз и

поджидая Акима. И где-то на грани сна уже окончательно решила, что не пойдет к Федору, ведь нет его, как нет уже и ее.

Не спал в своей светелке и Федор Крень. Он слышал, как приехал утром сын, о чем-то разговаривал с Пелагеей. В дряблой кожаной лодочке лежать было трудно, всеми сухими складками, как ребрами, она впивалась в немощную спину. А смерть все не приходила, и потому сел Крень в носу, подложив под спину подушку и загасив свечу. Все ждал с минуты на минуту, что вот сейчас придет сын, желал этой встречи и боялся ее. Крень с тоской прислушивался к своему сердцу и проклинал его, потому что оно билось неутомимо и сильно. И не знал еще Крень, что не один год, глухому и горбатому, ему придется доживать век в черной баньке, пугая людей своей немотой.

Афанасий Мишуков, отдохнувший в чуме у Прошки Явтысого, ехал по черной тундре. Он вспоминал смерть Петенбурга, и сладкое мстительное чувство еще сильнее разгоралось в его душе: оно зародилось еще тогда, в давние дни, когда мужики на проезжей улице при всем честном народе секли крапивой его отца...

А у крохотной керосиновой лампешки, прикрыв зябкие плечи милицейской шинелью, сидел узкоплечий парнишка и трудно умещал на четвертушке бумаги неровные строки: «...у нас, значит, форменные безобразия творятся, потому председатель Мишуков пьет и безобразничает и на людей с наганом кидается...» Ваня Тяпуев дунул на лампешку и в кромешной темноте, потревожив мать, чтобы не храпела, полез на печь.

Так начинался на Зимнем Берегу год тысяча девятьсот двадцать девятый, неповторимый год.

Конец первой части

очерки



РОДОВОЕ ГНЕЗДО

Еще днем земля была торжественно покойна, и по серебру хороших нынче овсов украдкой уплывало бабье лето, и попробуй вот удержи его. Но засыпает земля нервно. Умаявшись за день, неожиданно строжеет. Где-то в одночасье падает на Жердь хлесткий дождь и забубенно барабанит по серым крышам, и окна жалобно тенькают стеклами. Живые листы срывает ветер с берез и лепит на стекла. В комнатах сразу становится темно, но уютно.

Успев до дождя, Василий Житов, управляющий отделением, принес в избу солнце. Скинул кепчонку блином и улыбнулся теплыми глазами. Устало улыбнулся, весь опутанный сенной паутиной. Лицо светится окалиной. Десять дней не уходил Житов с лугов: сам — за метальщика. Развел руками, хмыкнул счастливо и пошел, по крестьянскому обычаю, в баню смывать сенную труху и усталость. И дождь сразу ушел. Коровы на поскотине утробно крикнули-мыкнули своих хозяек и отправились их отыскивать. В воздухе пахло молоком.

Житов пьет чаю много и долго. Вкусно пьет и молчаливо. Только и сказал: «Ну, кажись, поставили». Житову не дает покоя сенокос. Но вот он мечтательно вздыхает. Спать!

И в сельском клубе, в прохладном зале, «живут» лишь две последние скамейки, «молодежные». Остальная деревня спит. Потому как — страда.

Ноги скользят по отсыревшей стерне, и она ласково и податливо уплывает из-под ступни. В сумерках земля похожа на огромную нераспаханную пашню. Ароматна вечерняя земля. Она тепло дышит, и огоньки в спокойной тишине мерцают трепетно и настороженно. Гаснут они неожиданно один за другим, и темнота сразу глотает еще краешек деревни, но какое-то мгновение взгляд ловит ускользающий свет окна. И этот свет остается в памяти. Ненадолго.

Еще три часа назад в тряском кузове машины я убеждал себя, что не увижу ту, свою, деревню, уютную и таинственную с ватагой босых ребятишек, с покосившимися пряслами и сочными хрусткими снопами, и с прохладными поветями. Но сейчас, в густых сумерках августа, убеждаюсь, что эта, лежащая на холме деревня, распахнутая, сонная деревня, согретая воспоминаниями, еще ближе и понятнее мне.

Встала она на холме, уперлась домами в синие глины, и какое-то таинственное величие стекает с темных треугольников крыш на тусклое серебро лугов. Горделивая деревня. Кое-кто из старожилов еще помнит, как в старину съезжались сюда на ярмарку крестьяне из окрестных деревень, и тогда не один день шла бойкая торговля. И везли сюда тимощелы ладки и горшки, с Пёзы — «туесьё», с Городка — расписные короба да прялки, с Погорельца — повозки «красные». А жердяне хвалились быками да коровьим выменем. На петров день и на михайлов, перед потным сеноставом и после последней копны, хмелела деревня. Нет, не зря кичились жердяне и распевали: «Дорога Гора-шишка, Кимжа-трубочистка, Жердь-Москва, Кильца-Вологда». Везли из Жерди и хлеб и сено во многие деревни: так и говорили окрест, что в Жердь съездишь, как в Сибирь.

Старые люди живут воспоминаниями. Это счастливый и прекрасный сон. Гаснут огни, засыпают поочередно дома, внешне удивительно похожие, но каждый со своей историей.

В последний раз неслышно засыпает крестьянин Николай Чикин. Еще до недавнего времени «обряжал» быков, обузой не был. И хоть не столь старый, едва за пятьдесят, но заболел нутром. Еще с вечера навестила бабка Улита, не смертельным показался. Сам к столу подошел, супу поел, молока пресного похлебал, сам на кровать лег. А как уходить стала бабка, в спину спросил: «Да пошто ты, божатка, без чаю-то отправилась?» И бабка Улита обернулась добрым широким лицом и сказала: «А дома допьем». И не знала не ведала, что слышит последние слова Николая Чикина.

Не простился крестьянин с деревней. А рассказывают: вот Семен Житов, отец управляющего, как почувствовал душой, что помрет, так обошел средь бела дня всю деревню, поклонился на все четыре стороны и по-

том долго стоял на взвозе. И видели люди: плакал Житов. Люди трудно приходят на землю и трудно покидают ее. И чаще всего ночью, когда засыпает земля.

Вон и в том доме, что напротив школы, погас свет в окне Ильи Ермакова. И снится ему, наверное, атака немцев, и жестко скрипит он зубами во сне, в который раз переживая прожитое.

А рассказывал он мне об этом под вечер, и большое лицо его хмурилось: «А небо-то... Одно железо, кругом железо. Ой-ей-ей. А мы из окопов: «За Родину!» — и в штыковую атаку...»

Бабка Анна, жена Ермакова, грустно смотрела на мужа. Темные, словно две смородины, глаза печальны и счастливы. И через двадцать пять лет. Уловила момент, вставила в рассказ мужа: «Всего искромсали». Но не слушал Илья женины слова: «Солдаты вытащили. Восемь месяцев по госпиталям».

Не выдержала тут бабка Анна. Заперебивала: «Ой, да у нас на Пезе сенокос был. Василий Житов тогда малюсенький был, двенадцать годков, однако. На косилке едет, а ногой до педали с трудом тянется. Рано он запорабатывал. Вот и на лошади нарочный к нам. К телефону, мол, зовут из Мезени, из военкомата. Оставила я Василия, а сама к телефону. И тут, как обухом по голове: «Мужа тут вашего доставили, так будете ли забирать?» Завыла я, пешком кинулась из Жерди в Мезень. Бегу и плачу счастливыми слезами. Думаю, только в живых бы застать. И застала. Выходила. Пятерых детей вырастили, в люди вывели. Вместе».

Ухмыльнулся Илья. Встал, горделиво тряхнул головой, а как двинулся, так и скособочилось тело. Потянул за собой ногу бывший офицер, позднее бухгалтер, а ко всему прочему и деревенский философ Илья Артемьевич Ермаков. Это его слова: «Хлебушко — оно золото. Хоть мы и не Торцевы, не герои, но крови на фронте порядочно пооставили за нынешний хлеб».

Стынут на ближних полях тракторы, запах масла смешался с густым и сладким запахом гороха. И птицы доверчиво сидят на холодном металле. Засыпает земля.

Гаснет свет в обшитом калевкой добротном доме, и ложится последней в семье бывшая стахановка Пелагея Николаевна Чуркина. И долго не засыпает она, и слушает, как скрипит старый дом и сочно спят моло-

дые. Лежит и смотрит бездумно на черный в ночи потолок. Нынче уж никто не спросит, как прожила она жизнь, и лишь в пересудах с товарками, да еще когда увидит спешащего куда-то управляющего, вспомнит она обязательно самые трудные дни. Вспомнит с удивлением, без желчной горечи, а с грустной теплотой, и удивится она тогда сама себе: «Ведь всяко пережили».

Хорошее молочное стадо было в деревне, затерявшейся меж двух рек. Но вот в тридцать девятом кинулся на коров мор. Падали по восемь коров в группе. Не было кормов. Бессильны были руки у Пелагеи Чуркиной. Повалилась корова, смотрит жалобно и не может встать. Подняли ее на веревках, насыпали полведра отрубей, съела она их и померла тут же.

...А потом война: «Позабирали всех мужиков. По весне пашешь, пашешь, лошадь-то падет от бескормицы, сядешь в борозду и давай реветь. А домой придешь — детишки... Хлеб-от с мякиной да пелевой смешаешь, картошки домнешь. Дак и тому были рады, хоть бы защитники-то на войне сыты были. С теми мыслями и проживали».

Припомнилось, как встречали тогда Новый год. Уже сговорились бабы меж собой, что праздновать сообща будут, по-вдовьи. Какое ж тут питье, хоть песен попеть. Только приходит вечером Иван Нечаев, председатель и единственный мужчина, и посылает за сеном. Вот и пошли, на ночь глядя, четыре бригадирши запрягать лошадей. И мальчишек прихватили. Среди них и Васька Житов. Поехали в ближний луг. Наваливают сено, а сами чуть не плачут: за день устали. На волочугу и залезть не могут, да еще в дороге сани раскатило и опрокинуло. В горле горький комок: «Вот она, бабья доля. В праздник и то без роздыху». А не успели к скотному подъехать, как председатель тут как тут, еще раз просит съездить. Потом разработались, и комок горький пропал, и песни запели. Вот и Новый год прошел.

Так спасали коров. Но только от бескормицы захирели они, стали «словно козы доить». Пропало стадо.

Но кончилась война. И хмельные от радости возвращались мужики домой, горделиво побрякивая медалями. И Васька Житов лихо ездил на лошадях к перевозу через Пезу и развозил уже бывших солдат по

окрестным деревням. Доставлял их по домам и завистливо смотрел на звонкие награды.

Но многим не удалось прокатиться на победной телеге по весенней грязи, окунуть сапоги в непролазную, но такую желанную землю родных полей. Не заявился в старинный дом и бывший секретарь сельсовета Александр Торцев. Повел своих матросов в атаку и... не вернулся.

...Гаснет окно за окном. И вот ночь задула последний огонек и, остывая, поглотила деревню разом. Но где-то вскорости испугалась. Росная земля зябко вздрогнула, космы тумана, робко сжавшись, скользнули в ляги и озерные впадины. Шумно проснулись коровы и, выстроившись в колонну, согласно пошли на дойку.

На улице появился Житов. Он лишь однажды (в пятьдесят четвертом, после армии) изменил деревне. А потом что-то взгрустнулось ему, заныло сердце, и непролазными дорогами темной осенью ушел Житов из Мезени. Вернулся в свою деревню, в колхоз, не оправившийся после войны, без единой машины и с крошечными удоями в полторы тысячи литров. Редко тогда возвращались в деревню. А Житов вернулся и стал бригадиром. И вот с тех пор он, теперь уже управляющий, каждое утро выходит на улицу, надвинув кепчонку блином на самые глаза. Обходит свое хозяйство из конца в конец, делает осмотр. Потом стоит у правления напротив парней и всматривается в их лица. Многие уже при нем выросли: первые трудодни им ставил, потом из армии встречал, женил, обеими руками удерживая в колхозе имени Торцева (сейчас это отделение совхоза «Дорогорский»). Он — коренной крестьянин и знает, что без рабочих тяжело на деревне. А поэтому Василий Семенович Житов — местный записной сват.

Правда, были и неудачи. Но вот Леньку он женил и Геньку женил, и Алика, и Федьку — ныне механизаторы доморощенные. Ну, хоть вон тот же Федька. Прослышал управляющий, что к доярке накатили сваты из Усть-Няфты. Загоревал: «Ох, утащат доярку. Надо наперебой». А слыхал Житов, что Федька к доярке неравнодушен. Отыскал его на конюшне, подхватил под руку.

— Слушай, ты парень-то уж в годах. Гляди, пе-

рестарком будешь — девки не глянут. Давай, женись. Вон девка по тебе сохнет.

И вот жердские сваты в комнату ввалились. А гости из Усть-Няфты уже разговоры ведут, и у косяка невеста жмурится от стеснения. Подозвал Житов шепотком хозяина и хозяйку, увел в соседнюю комнату.

— Куда дочь-то в чужую деревню отдаете? У нас что, своих женихов нет?

И уговорил. Отец только руками развел, дочь пригласил. По рюмке в согласии выпили. Тем временем жених из Усть-Няфты тревогу почувствовал. Бросились сваты хозяев искать и услыхали вежливый отказ.

Вся Жердь переживала, за сватовством следила. А в печи блины уже прели, дожидались. Обычай таков.

Вспомнил Житов этот случай, ухмыльнулся незаметно. Потом ушел в контору и там долго сидел за столом, слушая разговоры бригадиров.

— Телят-то свезли на мясокомбинат. В среднем по триста килограммов вытянули. Хорошо.

Молчит Житов.

— Коля Чикин нынче помер. Народ на похороны пойдет. Метать кому?

Молчит Житов. Только спросил:

— Сколько куч еще осталось?

Управляющий смотрит голубоватыми глазами куда-то сквозь стену и посреди гомона вылавливает нужные ему мысли. А сам в это время «смолит» папиросу за папиросой. И уже полезли мужики открывать отдушину и распахнули настежь дверь.

Житов думает: «Мужики хорошо поработали. Месяц без выходных. Сеностав окончен. Николай Чикин помер. По-человечески проводить надо». Обдумал все, но молчит. Что-то люди скажут.

Нынче приехал из Москвы скульптор, молоденький еще, но лицом солидный, отливать бюст героя Александра Торцева. И хоть работы много и вроде бы мужиков от полей отрывать нельзя, Житов втайне вопрос уже решил. Однако с другими совещается доверительно:

— Ну как, мужики, поставим?

Откликается молодой белокурый парень:

— Дак надо, бат, свой брат, жердский. Можно день-то и бесплатно отробить в память Торцева.

И все загалдели разом. Заговорили об Александре Торцеве, как о живом. Пошумели с минуту и разошлись незаметно, потому что стрелки подошли к восьми. И сразу в обе стороны от деревни покатили машины. Следом за ними отправился и управляющий. Большое нынче хозяйство. С тех дней, когда впервые стал председателем колхоза — а было это лет десять назад,— выросли доходы хозяйства более чем в двадцать раз, и коровы стали доить по три тысячи литров, а на трудных сенокосах, сделанных давненько мужицким топором, работают нынче восемнадцать тракторов.

Надвинув кепочку блином на самые глаза, спешит управляющий к стогам и сует руку по самый локоть в сенное тепло и, приложив ухо к зароду, словно слушает, а что скажет он. Не горит ли сено? И вытаскивает клок из самого нутра, и нюхает, и смотрит на свет — извечное мужицкое движение.

А потом идет к силосной яме, в гараж, в мастерские. И смотрит на все молчаливо и мягко. «Негромкий» управляющий Василий Житов.

Днем вся деревня провожает Николая Чикина в его последний путь по земле. И председатель сельсовета тут, и управляющий. Умер земледелец. Этот день посвящен ему. С утра и до последнего вечернего самовара будут вспоминать его в каждом доме. И забудется плохое.

Но сейчас молчаливо в деревне. И чуть испуганно. Где-то вдали, на полях, тарахтят тракторы. А за похоронной процессией, как напоминание об очень старой ушедшей деревне, плетется восьмидесятилетний дьячок. Он с трудом тащит согнутое тело, и глаза его удивленно смотрят на мир. Удивленно и наивно. Он силится догнать людей, но не слушаются старые ноги. А через час на поминках бывший дьячок настроит свою скрипку и заиграет похоронный марш, и лицо его радостно засияет, и станет торжественным старое тело. Но после первой же рюмки он хмельно встрепенется и поведет смычком: «Мы — кузнецы, и дух наш молод...»

А на самом краю Жерди, где начинает упруго сбегать вниз зеленый холм, роют парни глубокую яму. Сюда зальют бетон, и на этой земле встанет каменным Герой Советского Союза Александр Торцев. Он отдал жизнь именно за эту, столь многосложную землю.

Как ни прекрасно нынче лето, но и оно не вечно. Хочется упасть на вершину стога, утопить тело и сквозь теплое марево дня наблюдать, как по серебру последних нескошенных овсов украдкой уходит бабье лето. Сочится это лето сквозь пальцы ласковой родниковой водой, и попробуй удержи его. И здесь, среди природы, на грани лета и осени, вдруг познаешь всю прелесть земной жизни. И грусть, что̀ навещает тебя, не печальная, а долгая и сладкая.

ТЕПЛО ЗЕМЛИ

Все гниет, только рукомесло не гниет.

В. Песков «Шаги по росе»

Так неужели столь сиротлива стала эта тропа: цепочка одиноких старых шагов на сверкающей голубизне снега? И с грустью и удивлением подумал я вдруг, что за двадцать лет после моего последнего приезда сюда так и не удосужился навестить деревню снова. Так и не хватило времени свернуть чуть в сторону, чтобы заново встретиться со своими воспоминаниями, которые столь призрачны: лобастые дома, грузно поставленные по рыжему угору, что-то задумчивое и голубое — это, наверное, река и потом сосновые духмяные покои, и еще множество сиреневых дымов. Но, к моему стыду, до недавних пор не знал я, что эта деревня в ряде северных селений занимала особое и достойное место: она возами везла на базары свой товар и далеко была известна незатейливым ремеслом. А жили здесь гончары.

И не раз возвращались демобилизованные под гуд гармоники с невестой под правой ручкой, с заезжей невестой: знать, не устояла рязанская или тамбовская девка от столь видных соблазнительных разговоров: «А поедем-ка, милая, ко мне в Тимощелье. Да у нас одних заводов сорок штук». И ехали ведь, раз у парня чуб рыжий и завод свой.

...И вот иду я по одинокому следу, по сосновому бору, по зеленой горнице, к двум тихим избам, что пла-

вают в заснеженной заводи. Я попадаю к единственному ныне на Мезени доброму гончару Лочехину Афанасию Егоровичу и к его супруге, «богатой на язык» Елене Афанасьевне.

О них и будет этот рассказ.

1

Эту глину он накопал еще с осени в один спокойный день там, за сосновым тихим бором, на сухих буграх, где доставали «теплую землю» уж не одну сотню лет. Воза четыре с помощью сына доставил к дому: пусть мерзнет-вымерзает, «тогда тяжесть-то лишняя в воздух уходит». А нынче, когда пошли морозы и подоспела по всем приметам пора делать посуду, занес Лочехин в избу корыто, глины из-под снега наколотил, дал оттаять ей и водой залил. Потом ступил в эту глину старыми ногами и почувствовал, как тянет из него земля каждую жилу, и даже сердце вроде опустилось и засосало под ложечкой. А потом забродил монотонно, припоминая вдруг, что вот и земля ныне не та, хоть сколько ее протяпывай да ногами работай. Хотя посуда нова и ничего, а вон в Мезени кирпич рыбокомбинатовский совсем слабой. Может, в Дорогой есть: там ямы не добываны, но только не найти чужому человеку.

И вот вроде потеплела глина и податливей стала. И нащупывая пяткой очередной камешек, он затем брал его в руки и, прежде чем выбросить на холстину, долго протирал каждый шершавой ладонью, словно надеясь найти самородок. И всматривался туманными глазами, как когда-то вглядывался молодыми. А потом услышал Лочехин во всем теле гудящую усталость и подумал, что вот неплохо бы выпить стопочку, ибо, несмотря на все свои восемь десятков лет, от этого дела не отказывался, хотя никогда и не грешил этим.

Добрая жена у него Елена Афанасьевна: ой, понимает, что от той стопки душа выпрямляется и кровь жарче бежит, и вроде приподнимает его. А и то сказать, какая у него ныне кровь: так, одна водица. Был конь езжан, диву на диво.

Но не даст старуха, нет, не даст. Только на той не-

деле приезжал сын, а у нее «в заначке» была пол-литра, так всю с сыном... того... Потом и плясать пробовал, и ноги вроде поначалу ничего пошли, да музыка застопорила: игра не душевна. А когда-то он игрывал, на тальяночке, правда. А эта гармонь что — так, для басы-красы. Свои-то пальцы тихо гнутся, так какой гость наезжий позабавится.

А что и говорить, купить-то ее пришлось нужды ради. Долго ли старых да малых напугать. Вот и насказывали однажды: мол, деньга падет и дешева будет. Други-то на соль да крупу пшенку кинулись, только бы копейку скопленную упехать. А они с женочкой порешили гармонику заиметь. Ну и хорошо порато: все хоть вещь, когда и душу развеселит.

Нет, видно, бабка не даст стопочку ныне. Ну и пусть. Может, гостенек какой нежданно-негаданно закатит. Век не неделя: не знаешь, кого увидишь, да кого встретишь. Как на германску-то уходил, так родителей оставлял в добром здравии, а ей, Елене Афанасьевне, женке будущей, однако, и девяти годков не было.

А как домой пришел, родители в земле, а соседская девка уже в невестах. Да и то сказать, десять лет по фронтам прошлялся. Тут и пошли в сельсовет на запись. Вот и полвека укатило, а будто и не живали. Ныне в июле золотая свадьба. Тринадцатое июля — самое золотое время....

Вылез старик Лочехин на холстину, на табурет сел прямо, чтобы спина отошла самую малость. На жену посмотрел, что у печи в тазу шерсть моет. Почему-то внимательно посмотрел после долгих монотонных раздумий и, будто впервые, только сейчас разглядел свою благоверную Елену Афанасьевну. Вгляделся в нее, а словно бы себя в зеркале увидал.

...Вроде все женка-то молода была и всяко ремесло из рук не выпало, не ушло: и полотно сетное вязала, и кибасья-грузила не одну тысячу для неводов колхозных тяпала. Ой, был конь езжан, диву на диво.

И вдруг, неожиданно для себя, уронил вслух мысль свою Афанасий Егорович:

— Женочка, время-то сквозь пальцы утекло. А каки мы нынче стары стали да некрасовиты.

Бабка вынула из таза сизые от воды руки и сказа-

ла насмешливо, щуря и без того невеликие свои глаза:

— Жизнь-то свою отгоревали-отпели. И бито было, и пито было. Молоды молодятся, а стары старятся. Быват, на том и век стоит.

Елене Афанасьевне только повод дай, а там она пойдет наговаривать из поговорки да в присказку. Однажды из Москвы приезжали, на магнитофон записывали. Час-другой лента бежит, фольклористки уже смеяться устали, а бабкины слова все, будто паутиной, ткутся. Тут приезжие не выдержали и спросили:

— И долго так вы, Елена Афанасьевна, сочинять можете?

— А неделю поговорю, потом отдохну и за вторую примусь. А вы только слушайте, белеюшки. — И засмеялась довольная бабка Лочехина.

2

А где-то под вечер, когда глина выстоялась, сел старик за гончарный круг, опоясав себя кожаным фартуком. Он любил работать при керосиновой лампе, как и дед его, и прадед, хотя во всякое другое время никогда бы не отказался от света электрического. Он любил, Лочехин Афанасий Егорович, этот полумрак и живые тени, потому как сырая глина была насыщена светом до осязаемости и казалась глубокой, и до этой самой глубины доходить было приятно и сладостно. Об этом Лочехин не смог бы рассказать, он чувствовал глину кончиками пальцев, и каждое последующее движение рук и души было понятно и похоже и сливалось в единую устойчивую цепь творческих действий. И каждое действие было так отработано с годами, что над посудиной можно было и не корпеть: она рождалась сама, как родились до этого тысячи. Из них, из этих тысяч, может, большинства нет, они снова ушли в землю — ладки и горшки, и печные трубы, сослужив службу. Но они появлялись на свет каждый раз по-своему, каждый раз единственные, потому что творились рукой человеческой. «Что есть глина? — думал гончар, вглядываясь совсем плохими глазами в бесформенную пока массу.— Вот почему-то самая хорошая земелька около кладбища попадат. Вот и эту глинку кто-то напитал... Наезжают, всегда спрашивают: «Что ты, товарищ Лочехин, от глины добива-

ешься?» — «А чего я добиваюсь, как не хлеба. Землей и хлебом живем».

Мысль перебила жена. Подошла неслышно:

— Ну, хватит раздумывать. У других все по-быстрому, а ты растяпываешь.

Но Афанасий Егорович не рассердился, да и что толку голос на женщину поднимать, а потому только посмотрел укоризненно из-под лохматых бровей.

— Сколько ни наживай, а больше чем на себе туда не унесешь. А посуда-то здесь, на земле останется.

— Да и то правда,— сразу сменила тон жена. За полвека совместной жизни характер мужний насквозь проглядела. — Ты же по гончарному делу на вышине числишься. Наша посуда отменита, у нас своя дорожка. Я где ладку вижу твою, говорю: «Это же моего деда посудина!»

Да и как Елене Афанасьевне мужнее мастерство не хвалить, если она тоже к этому производству свою руку прикладывает. Если тот же самый горшок взять, к примеру, то на него с разных сторон посмотреть можно. Как только народился он из дедовых рук, так просто глина незрячая и все. А если его смолой обмажешь, свинцом обсыплешь да на огонь, под закалку, тогда дело другое. А свинец, он тоже разный бывает. Иной такой, что и не выжжешь: на маленьком огне в чугуне часов шесть плавишь и впроход мешаешь его, пока он в муку превратится. Только потом через сито пропустишь, и если свинец приятный, то весь он как будто мукой просеется.

Но об этом деду своему рассказывать не станешь, если он в их совместном производстве и за мастера, и за ревизора. Вот и сейчас отвлекся Лочехин на минутку, глянул в чашку со свинцом:

— Ничего вроде, обливу хорошую и светлую даст. Завтра с утра и «завод» затопим.

3

С утра Афанасий Егорович вышел под очень морозное солнце, похожее на обливную чашку, сразу и захолодел весь, и заиндевел, но как лопатой заработал — теплее стало. Даже шапку чуть на затылок присдвинул и ус ото льда очистил.

Посмотрел гончар Лочехин на солнце, на деревню в мягких снегах, но резко вдохнуть морозный воздух побоялся. Улыбнулся чуть одними глазами и подумал: «Вот вчера старухе говорил, мол, помру... А, может, и рановато? Жить-то в общем и можно, только вода далековато, и на угор тяжело стало подниматься».

А тут жена притащила на чунке — легких санках — дрова, сухие и звонкие от мороза: сосновые полешки, которые горят светло, и жар ровный от них. Привезла бабка и посуду: ладки, горшки, крынки — невзрачные на резкой белизне снега, со следами рук, мутно-желтые на радостном солнечном свете. И Лочехин уже не чувствовал к ним того уважения, какое испытывал несколькими днями раньше, когда сырая глина податливо льнула к рукам. И потому он складывал их в большой зев печи почти безразлично, чтобы только не разбить. Уложил штук сто, не меньше, потом прикрыл сверху черепками, устье заполнил сосновыми полешками и поджег. Единственный дым, пока черный и сажный, поднялся над тимощельскими снегами и полями, над которыми плавали когда-то сорок дымов. Так часа три теплилась печь, и жирный дым пронизывал и прогревал посуду. Дед Лочехин успел и чаю попить, и поспать, но когда пришел снова и накидал дров, то уходить от «завода» было уже нельзя. Он смотрел в печь на поющее пламя, на многоцветные огневые струи и в этих красках ловил свои, нужные оттенки: вот прошел дым, и красные огни пропали, только белый прозрачный и ровный пыл пошел сквозь посуду. И черепки, что навалены сверху грудой, закраснели сначала, потом стали белеть, и пламя очистило глину, и она на глазах гончара обретала уже новый благородный цвет. Потом мужа сменила жена Елена Афанасьевна, но гончар все не уходил, топтался в снегу подшитыми валенками, и лицо в сумерках было молодым, розовым от огня и радостным. Но все-таки прогнала его бабка, и он ушел по узкой тропинке к дому, маленький, узкоплечий, в побелевшей от лет фуфайке.

4

А на следующее утро опять было солнце. Но уже тихое, предненастное и совсем не желтое. Лочехин вынимал из зева печи посуду, бронзовую и еще теплую.

И это тепло приятно было рукам и сердцу, и чувствовал гончар, как душа его выпрямляется и кровь жарче бежит, и вроде приподнимает его.

Гончар прищуривал выцветший глаз, подносил ладку к уху и стучал сгорбленным пальцем:

— Звенит...

— Раз звенит, значит, не розна,— отвечала Елена Афанасьевна. — Раз звенит, значит, нашему хозяйству не в разор. Ой, сколь и не хорош этот горшок, а, дедко? В нем и суп, и каша скусны будут.

— Это же земелька, природа наша,— каждый раз отзывался однозначно гончар.

...В морозном воздухе, над заснеженными полями плыл чистый и радостный звон.

* * *

Так неужели затихнет этот звон? Не так давно в Тимощелье стояло сорок «заводов» — печей, в которые разом «садилось» по сто пятьдесят изделий в каждую. Десятки тысяч горшков и чашек везли по окрестным деревням, и пользовался этот нехитрый товар большим спросом. Да и как было не купить ладку, если в ней рыба жарится «красива и скусна»?

А в соседней деревне резали по дереву, а там — вязали метлы и мастерили тележные колеса. Быть может, ныне, в век атомный, эти вещи безвозвратно ушли из быта?

— Так нет же,— говорит Елена Афанасьевна,— наша посуда наразрыв идет. Посылками везде посылаем. Берут-берут и набраться не могут. А мы ныне что... мы уже старые стали.

ЖИВАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПТИЦА

**И в пронзительно-радостном свете
привиделась ему
большая белая птица.**

Оказывается, и береста может прославить. Жил-был в Брин-Наволоке, что под Великим Устюгом, человек, резал кружева на бересте, и столь они были

прекрасны, что, когда он умер, сельчане назвали его именем свою деревню. Ныне шемогодская берестяная песня Николая Васильевича Вепрева уникальна: полсотни лет его шкатулкам и блюдам, но не стареют они, разве что узор берестяной стал смуглей чуть и чеканней и при тусклом музейном освещении наполнен изяществом и благородством старой слоновой кости.

Да и кто только не резал тогда на Севере, ибо берестяной добрый товар был известен куда как далеко и брали его нарасхват: в туесе молоко не прокиснет, в берестяной корзине хоть воду носи, шкатулка — любой красавице в утешение. Но ныне увяла шемогодская песня, едва слышна она, и стынут резаки над серийными сувенирными рядами патлатых Ванек и стилизованных лапоточков на безымянный палец, холодеют резаки на щербатых столешнях, и уходят из деревни последние берестянщики.

От Устюга до Селища, «грязной деревни», потому что здесь земля по веснам, как нигде, жидкая и жирная, и картошка оттого всегда урожайная, расстояние «черт мерил-мерил, да веревку сорвал». В общем, сплошная тайга, где березы, «товара бросового», миллионы кубометров. Казалось бы, северным умельцам-берестянщикам работы невпроворот. Однако от Устюга до Архангельска далеко, а беды те же. В редкой деревне есть ныне мастер. Посмотрим, что же он из себя представляет, ну хотя бы вот этот кустарь-одиночка из Селища — Фатьянов Мартын Филиппович, известный своими работами на мировых выставках.

* *

Казалось бы, откуда быть в середине марта снегу, но, видно, год такой взбалмошный, что снег упал очень обильный, так что до Селища в ближайшую неделю попасть трудно. А значит, и старухе, супруге Фатьяновой, нынче гостить еще в Лешуконском. И выходит, еще не один день обряжаться по хозяйству Мартыну Филипповичу.

Он бродит по избе, костистый, в старой ситцевой рубахе, твердые густые волосы мостятся на его голове упрямо. Большими руками он укладывает отмякшую навагу на ладку и, забыв добавить масла, сует рыбу

в печь и опять забывает ее на горячих угольях. А потом по обеим комнатам гнездится душная рыбья гарь, и тогда старик суетливо и весело вскакивает и, сунув руку в рукавицу, достает ладку с обгорелыми наважинами и гостеприимно норовит угощение сунуть на стол. И все придвигает к нам — и молоко, и чай, не уставая при этом повторять: «Вы угощайтесь, вы не стесняйтесь», а сам при этом сиротливо пожимает плечами и добавляет с виноватым удивлением: «Ишь-ты, старухи нет, а то бы она... Да она бы, вы знаете...»

Тут приходит золовка, не старая еще женщина, с тихим, чуть подтаявшим изнутри лицом,— знать, что-то болит под сердцем,— и, ласково вглядываясь в деда, как в напроказившего ребенка, предлагает свои услуги: самовар «подживить» или что из еды приготовить. Но обрадованный гостями дед только отмахивается от нее рукой, и та, убедившись в бесполезности своих усилий и постояв с отгорающей улыбкой у печи, уходя, добавляет:

— Он ведь боевой. Вот и внучка, как спать укладываю, сказок не просит, а только: «Бабушка, бабушка, скажи про деда Мартына».

Тихая, как мышь, восьмидесятилетняя сестра его, заскочившая в гости на минутку, пока внуки не хватились, мерно качает луковичного цвета лицом и как бы сама себе нашептывает:

— Он у нас такой, Мартынушко, ничего не боится...

И хозяин открыто радуется хорошим словам: раздвигает в улыбке длинный рот и дует вверх, под крылья большой деревянной птицы, и та мерно плывет на тонкой невидной нити.

— Как живая. Из дерева, а как живая... Чудно, а?

И все мы соглашаемся, что это действительно чудно.

Глухарка из дерева изготовлена с большим изяществом — недаром вещи мастера Мартына ценятся за границей. А Фатьянов, увидев наше любопытство, уже несет из соседней комнаты другую птицу, ту, что на выставку поедет, и тыкает ее нам в нос, и властно и даже небрежно гладит тяжелой ладонью по хрупким деревянным перьям, и все повторяет:

— Просто не просто, но еще лучше могу.

И опять и сестра, и золовка Анна Константиновна в лад качают головами:

— Это уж такой он сотворен.

И заготовитель пушнины крупноскулый темнолицый мужчина тоже качает головой и повторяет:

— Такой он деловой охотник был, и лучше его местные реки и суземье никто не знает.

Мартыну Филипповичу приятно слышать такие похвалы: он как именинник сегодня, по-детски радуется вниманию к его персоне, тем паче, что гости из большого города.

О Фатьянове я наслышан был от местного «рыбнадзора», который однажды застал Мартына Филипповича у верши. Не успел он подойти, как Фатьянов уже сам рукой машет и приглашающе кричит: «А я вас заждался... Вы все не едете, так и рыбки наловился. Вот можете и штраф наложить — эти права вам позволены,— а противиться желания не имею, да и не положено. А пока справки пишете, так я вам и ушку спроворю». Рассказывал все это рыбинспектор с грустноватыми глазами, едва раздвигая в мягкой улыбке уголки губ, а рассказав, удивленно заключил: «Чудак, а хороший. Заждался, говорит, вас... А может, оттого и чудак, что мастер?»

В июне, дней за десять до петрова дня, когда береза сочна и пушится листом, и воздух начинает калиться солнцем, и овод-нуда летает по заберегам и в тенистых местах, Фатьянов спускает лодку и рекой поднимается на пятнадцать километров до Бушенева мимо молчаливой и хмурой еры. Минует он и болотину, где береза крива стволом, и ищет боровинку, сухой бугор-материк, где береза чиста своими одеждами и игла редко пятнит бересту. Там рубит он дерево на уровне своей груди и валит его. А потом начинает с вершины рябиновым щупом пробираться под берестяной одеждой — «щучить», что значит — отделять от тверди, а затем осторожно ремнем в два ряда обнимает дерево и начинает сдвигать бересту: крутит-вертит на себя ременным воротом, как кольцо обручальное снимает или как кожицу для свистульки. Трудная эта работа и долгая — тут и терпение нужно, и знание дерева. А как снимется береста, получается она наподобие ведра без днища — «дуплё», значит. А порой

снимает Фатьянов таких берестяных рубашек до двадцати с одного дерева, на котором тычинок мало и нет сука-полусука.

Фатьянов вертит-ворочает в руках старинный, бронзовый от старости туес, даже в угол норовит бросить и попрыгать на нем, потом садится на него, и рот добродушно тянется во всю ширь:

— О, туес, как ушат, сшит. А делал его еще Фатьянов-богатырь в прежние времена, и был он велик и плечист, и дома ставил в одиночку: каждое бревно на своих плечах из леса притягивал. Но, правда, ел много, да только раньше кака еда была: так, щей пустоварных и намолотится.

Мартын Филиппович ударился в «старопрежние» времена и даже руку в локте согнул, и заготовитель пушнины потыкал в ту руку и покачал головой:

— Есть силенка.

А Фатьянов потупил голову и добавил скромно, что еще хватит этой силенки не на один год, но только с дедом Фатьяновым — богатырем ему не тягаться, хотя и он, Мартын Филиппович, «один на медведя хаживал и даже девять штук их и прикончил». И сухонькая сестра, тихая, как мышь, ровно качает головой и доверчиво улыбается:

— Он у нас такой, Мартынушко, страсть боевой и на слова честной.

Однажды в июньскую же пору поехал Фатьянов за берестяным «дуплём» по таежной речке. Едет отдыхаючи, шестом в береговой песок толкается и даже песню в усы мурлычет. Но тут показалось ему, будто «земля дончит бот-бот-бот». И вдруг сверху, с крутого берега, катится на него медведь. И прямо к лодке. Схватил Мартын Фатьянов весло и в пасть медведю тычет и кричит на него: «Ах ты... Куды идешь? Человека не видишь? Сейчас голову отрублю». Отступил медведь, растерянно закряхтел, а в это время Фатьянов успел топор схватить. Напружинился весь, ну, думает, если на лодку животина полезет, выпаду в воду и прямо снизу топором живот выпущу. А медведь, как невольник, пошел тихонько в сторону — большой зверь, длиннее лошади.

Мартын Филиппович рассказывает живо, изображает себя, медведя, и то, как он его веслом-веслом

прямо в морду. Потом приносит из соседней комнаты еще один туес, на котором изображена художественная баталия в сценах: и лодка есть, и берег, и сам он, Мартын Филиппович, есть — маленький-маленький, едва виден, а медведь над ним громадой навис и пасть щерит, а потом уже этот медведь убегает, разбросав по сторонам толстые лапы. Фатьянов крутит туес перед нашими глазами, и сам весь восторженно щурится.

Узор вырезает Фатьянов сначала на торце вереска или на суку еловом — крене, а потом выдавливает на бересте. Он и при нас операцию эту проделывает — бьет молотком по деревяшке и сам себе задумчиво приказывает:

— А ну, если я охотника колону. Простая самая вещица — стадо гусей полетит. Надо войско — и войско будет. Из своего соображения, из головы, без рисунка. А вон куницы хвосты подняли.

Потом совсем затих Мартын Филиппович, да и самовар уже допит, и заготовитель пушнины совсем размяк, и свет потух. Фатьянов керосинку засветил, и тусклый свет от края стола едва докатился до нас, и затаился в глубине туесов, и выстарил их, будто и не вчера были деланы они, будто не один урожай ягод уже побывал в березовой прохладе.

И вдруг Фатьянов встрепенулся, задумчиво потрепал седую голову:

— Вот сошью еловым корнем посудину — так на сто лет. В туесах моих золото не гниет — храни не хочу, бражку сварить — сладка, морошка не преет, не киснет. Мою посуду иностранцы признали, от людей отбою нет, а все хочется что-то такое сделать, ну чтобы себя удивить.

...Ночью я проснулся от неясных шорохов легко и неожиданно, будто и не спал вовсе, и долго всматривался в призрачную, какую-то добрую и звучную тишину. Старый дом потрескивал на легком морозе, обжитой, надежный деревенский дом. В кухне у печи скрипела деревянная кровать, ворочался во сне, спал неспокойно Фатьянов, «добрый персонаж из сказки со счастливым исходом». Видимо, мучали его туманные

видения прожитой жизни и все восемьдесят пять лет старости. А лунный свет, пробившись сквозь накипь льда, высветил прямоугольник неприбранного стола и башенку самовара, а над всем этим приглушенно и затаенно парила большая белая птица. Может, деду Мартыну сейчас снилась именно эта птица. И мне представилось, как он, запрокинув руки за голову, блаженным взглядом всматривается в тонкое оперение и, натянув в движении старую шею, дует истово в деревянные перья и бормочет: «Ишь-ты, деревянная, а как живая. Чудно, а?»

ЗИМНИЙ БЕРЕГ

От автора

Когда я вернулся из командировки и рассказал эту историю, мне не поверили: сказали, мол, выдумал все — тут литературщиной попахивает. «Да разве мог такое мальчишка сказать?»

А случилось это лет шесть назад — у самого Белого моря. Помню, что было сумрачно и гнетуще, над болотным берегом побережник нес песчаную пыль, и волны ритмично накатывались валами, напоминая о себе. А на песчаной кромке играли ребятишки. Они выкатывали из лежалого песка мокрый плавник, посильные для себя деревины, и сооружали подобие охотничьей хижины. Но заметив, что я наблюдаю за ними с берега, на минуту притихли, прекратили мышиную возню, и один из них, черноволосый и без шапки, грубовато, с поморской прямотой выкрикнул: «Ты откуда такой и чего на море пялишься? Наше это море, семужье и камбалье». И он чуть дурашливо рассмеялся, кривляясь при этом. Потом его смех подхватили остальные: видно, им старая игра поднадоела, и они нашли новое для себя развлечение. Но черноволосый вдруг гикнул, махнул рукой и увлек своих приятелей в сторону деревни, оставив свои слова в моей памяти.

«Наше море...» Родина входит в душу бессознательно вместе с первыми валкими шагами по земле, с ясны-

ми зорями и мягкими белыми ночами, и плеском волны, и шорохом карбаса по песку, и светлыми рыбами, роняющими чешую на мокрые колени, и солнечным дождем на тихой морской воде. Но тогда почему же человек, бесконечно любящий свой угол, вдруг покидает его? Может, сознание, вырастая «из детских рубашонок», вдруг мутит душу сомнениями? А может, уверовавший с детства в золотые тайники своего Дома, он потом раскаивается в этой вере. Да и жизнь щедра на ушибы. И вдруг заметишь однажды, что милый сердцу родной угол совсем не особенный, а просто затрапезный, серый, невзрачный и бездорожный клочок земли, а вокруг столько заманчивых мест, куда бы можно податься.

1. БИОГРАФИЯ ДЕРЕВНИ

Деревни рождаются и умирают, как люди, только более длинно и мучительно.

Как они рождаются? На Зимнем Берегу, если идти на лодке по речке Ручьи, можно попасть на остров Кельи. Чьей щедрой рукой заброшен этот остров на холодную грудь озера? Нынче здесь только сосны, пьяные клеверища и могилы. На порушенных временем срубах еще можно отыскать дату рождения: год тысяча шестисотый.

Видимо, тогда, а может, и ранее бежали сюда староверы «от поганых щепотников». А успокоились лишь в духмяной сосновой тиши. Распахали на острове пашни, засеяли житом, поставили избы, накопили детей и отгородились от мира десятками болотных километров. И свою тайную деревню «в сорок косцей и сорок гребцей» назвали более чем скромно — Кельи. Может, и поныне бы стояла она, да только кому-то из поселян, любившему долгие ходы, сильно понравилось море. Не вернулся старовер на благодатный остров: поставил избу в устье речки Ручьи. И тогда пошел в Кельях раскол, осыпалась в землю вольная деревня.

А жители, что покинули островной дом, ушли на берег. Выросло поморское селение подковой в устье строптивой реки. Словно извечное противоречие треплет душу деревни, и не может она порвать ни с лесом, ни с морем. Ручьи и росли-то куриными скачками, буквально выцарапывая из тайги очередную избу.

Вон там, напротив, через реку, еще стоит последний сиротливый дом. До недавнего времени жил в нем охотник Голубин с семьей. В обители леса чувствовал он себя просторно. Но однажды долгонько отсутствовал по своим охотничьим делам Голубин, и жена его, соблазнившись деревенским обществом, собрала имущество, прихватила детей и переехала через реку в Ручьи. Появился из лесов Голубин — пуст дом. А жена с другого берега его переманивает: «Бросай давай отшельничество, хватит букой жить». Но с год еще бунтовал охотник, один жил в пустом доме. И смирился. Вот так и выросли Ручьи: пустила корни деревня на очень трудной земле.

А каков характер у местных жителей, можно судить по такой драматической истории. Однажды наступило время, когда церковные власти добрались и до острова Кельи и стали навязывать староверам «щепотную веру». А те ни в какую. И только выпал первый снежок, ушли и замели за собой следы. Все сорок утопились в озере, и стало оно с тех пор называться Старушечьим.

Такова история одной деревни, сгоревшей, словно свеча. А потом из талого воска была слеплена новая, но и та ныне догорает, потому что детей стали скудно рожать.

...Недавно в Ручьях познакомился я с Хромцовым из рода Хромцовых-маячников и мореходов из Инцы. Он только сказал мне: «А хочешь гуся целиком стушу, а? Можно с картошкой. В городах-то небось нету. Ой сколь и не жирна птица нынче. Так жирна, что сало хоть пластами режь». Так сказал Хромцов и сразу сманил меня в Инцы.

Глаза маячника были хмельны и радостны, коричневое лицо блаженно от воспоминаний. Еще позавчера Хромцов впервые за последние двадцать лет собрался в отпуск. Брат — в Вологде летчиком. Костюм парадный сложил в чемодан, любезно пораспрощался с товарищами. А до транспорта далеконько: километров тридцать натянет. Отодвинулся маяк за спиной, и тут пристали к Хромцову неотвязные думы — непонятные еще и смутные. А брести нужно по лайде — травянистой болотине. В лицо не столь еще и холодная осень дышит, и гуси кричат — нахально так, сотни гусей. В стаи сбиваются. Ружьишко бы на них, ружьишко...

Километров через десять не вытерпел Хромцов, обратился к жене, провожающей его:

— Слушай, женка, может, не ехать мне, а?

— Да поезжай ты, господь с тобой. В кои-то веки собрался. Теперь уж до пенсии в городах не бывать.

Ничего не возразил Хромцов, только согласно кивнул головой. Но на исходе пути, когда и Ручьи уж завиднелись, заключил Хромцов утвердительно: «Никуда не поеду».

Навестил он детишек, что в ручьевской школе учатся, радиолу купил: «Нынче дети грамотные пошли и музыку любят. Пусть в каникулы время занимают, и нам, родителям, веселее». А утром нагрузил толстую и хитрую в старости маячную лошадку, приткнул в тележку отпускной чемодан и радиолу «Эфир», на отпускные деньги купленную, пригладил грубой пятерней седеющие волосы и сказал грустно-грустно: «Одна сваха чужу сторону хвалит». Потом решительно толкнул лошадь в сторону моря.

Желтая тетива берега пустынна и гудит от прибоя. Где-то незримые глазу рождаются волны, пухло лезут к ногам, натягивая береговую тетиву. И тогда, подобно огромной бутылке с шампанским, славно стреляет Белое море. Очень даже славно и очень монотонно.

А берег безлюден. Убравшись пораньше от штормов, покинули рыбаки подслеповатые избушки. И только колья тайников еще напоминают о недавнем присутствии людей. Тяжелы Хромцову на пятом десятке жизни эти тридцать песчаных километров. Месяц назад вроде проще было. Зашел бы на уху к рыбакам, чайком согрел душу, новостей наслушался. А так вот что, дорога уныла и аккуратно не меряна: «Леший мерял, да веревку сорвал».

Вот и Погорелка. Сказывают, несчастье однажды ее настигло, пожаром подпалило. Пустынна тоня. А ведь ловить бы еще да ловить. По всем старинным приметам под Покровское самая жирная и умная рыба идет.

«Да, рановато рыбачки подобрались, — вслух размышляет Хромцов. — В тако погодье и волна тебя будет в бока подлизывать, а не уходи с берега. Семга побежит с ходу. А весной ведь без вари рыбаки сидели. На тоню с собой картошку да треску носили. Что и говорить: семга — темный погреб».

Пустынен берег, и его дальние изгибы в синей дымке похожи на корабли. Остатки сетей полощет побережник — северо-западный ветер. Опрокинувшись на спины, лежат у избушек длинноногие скамейки. Когда ставят тайник, то завозят скамейку в море, ставят на дно. Взбирается рыбак и бьет колья в грунт деревянной колотушкой — киюрой. А в колотушке весу килограммов десять, никак не менее. Бьет по тонкой вершине, не тая силы. А под ногами обманное море. Обнесет порой рыбака — и обнимается он в волне вместе с киюрой. И только поставлен тайник, вроде бы пора и семгу в гости ждать, а тут нá тебе, подкрался в какую-то пору обедник — ветер с юго-востока: «очень даже надоедный ветер, рыбу не только в котел, дак из котла вытянет». А то и сиверко наскочит, бойко так: лохматит море, ломает колья, рвет сети. Скрипит избушка, кипит небо, карбас крохотным птенчиком среди волн. Спасать надо тайники. И спасают рыбаки, достают порой одну рванину. Жалостливо распялят на берегу, шьют-зашивают дыры, читают небо глазами: «Како-то завтра погодье».

Вот и тоня, по прозванью отхожая. Рыбаками окрещена: «Тоня отхожа — никуда не гожа. Погода биват, и семга не попадат, и колья выбиват». Зимний Берег рыбакам с детства знаком, веревкой обмерян на сажени, на билетики еще до революции разыгран, с молотка продан. И хоть поговаривали порой с тоскливой горечью, что «на тоню садиться — надо хлеба анбар», но в подпитии напевали: «Море, море, морюшко — золотое донышко».

Суров Зимний Берег. Суров и безлюден. На взморье — октябрь, и потому не выскакивает рыбак на крутой язык берега, не подсматривает биноклем за добрые пять километров и не гадает, а «кого нынче леший несет»: желанный гость или нет. Если желанный, так уху надо заваривать.

Но пустынен берег. Ни пахнущего рыбой дымка, ни человечьего голоса. А морю что: наигрывает-наяривает на своей пластинке. Мхи цветным ковром наползают на береговые скулы. Небо грязной мешковиной над головой. Неприглядно...

Так что же удерживает здесь? Не поймет Хромцов. Тяжело тянется он за хитрой лошадкой и заготавливает в уме приветственную фразу, что скажет при встрече:

«Ну и здоровенько. Каково без меня разживаетесь? А я уж в городах наотдыхался». И улыбается Хромцов, предвкушая столь неожиданную встречу.

И следом за ним, чуть пригнувшись, но довольно бойко вышагивает тетка Калиста. Навестила детей, что живут в Ручьях в интернате, и вот опять домой попадает. Изба ее видна на белесом горизонте. Тут, рядом, только с десяток километров по лайде отшагать. Так и бредет тетка Калиста из лужи в лужу. Лицо ее в морщинах от лет, спокойно и мягко. Неприметное бабье лицо, рыжеватое, худенькое, но приветливое. Калиста нынче единственный взрослый человек в Инцах-деревне, которая ушла из мира незаметно и спокойно, потому что маленькие драмы умерли вместе с селением. Естественно отмерла деревня, отжила свой век. Но на карте области она еще есть. Белый кругляшок с надписью — Инцы. И когда-то еще истреплются географические карты, и марля, что подклеена для прочности, придет в полную негодность, а вот деревни уже нет. Жители разъехались, и только тетка Калиста с полдюжиной детей не захотела никуда переезжать: «У добра добра не ищут. Там хорошо, где нас нет...» И все же деревни нет, умерла она.

...Однажды я спросил у своего хорошего ручьевского знакомого Юрьева Ивана Григорьевича: мол, что самое плохое в нынешней деревенской жизни. И тот, потомственный помор, а мужику-то уж за пятьдесят, грустно и искренне ответил: «Сучно здесь... Ей-богу, скучно. Ведь мы-то люди новые при Советской власти родились, а деревня — она старая».

2. ПОМОРСКИЙ ХАРАКТЕР

В марте этого года я летал на промысловую разведку. Сверху Белое море похоже на неряшливую скатерть в обеденных пятнах, и какой-то постоянной угрюмой безысходностью веет оттуда, снизу, пронизывает самолет. И эта тягучая грусть неожиданно навещает нас и уже не оставляет.

Вдруг вспыхнула внезапная мысль, когда взгляд упал на пробковые спасательные пояса: как страшно, наверное, оказаться одному в ледяном безмолвии. Однажды рассказывали мне, как помор из Золотицы за-

блудился в тумане. Случилось это незадолго до первой мировой войны: заблудился посреди моря, когда все промысловики разбежались по льдам за зверем. Наконец через сутки он вернулся к стоянке, по лодки уже не было: товарищи ждали-пождали, поискали для верности, подумали, что «терящий» погиб, и ушли домой. Для зверобойки этот случай рядовой. И заблудший еще восемь суток ходил по льдинам, ища в тумане берег, а не было у него ни огня, ни еды. Потом соорудил себе из льдин могилу и приготовился умирать, накрывшись совиком. Но только смежил веки, тут и услыхал всхлип весел: пробиралась по разводьям зверобойная лодка. И закричал страдалец, собрав последние силы: «Рабы божьи, возьмите терящего человека, вывезите куда-нибудь на мать сыру землю».

Сколько же потерянных воплей слышали эти безразличные льды, которые неспешно протекали под нашим крылом. А сколько горестных женских плачей вторили им с Зимнего Берега. Да, хлеб насущный всегда был труден. Хотя и поговаривали поморы, мол, «батюшка море, не на тебя надея, матушка земля родит», и ставили избы спиной к воде, однако лицом всегда стояли к морю.

...Только на вторые сутки нашелся зверь: он лежал столь густо, словно поленницы дров рассыпаны. Тюлень приплыл, наконец, от гренландских припаев в Белое море, в свой постоянный «родильный дом». А через несколько дней двести зверобоев, покинув Золотицкую гостиницу «Белек», с лодками и волокушами вышли из вертолетов и за пять дней закончили промысел. Спасибо Пономареву, председателю «Рыбакколхозсоюза» — его затея, а то еще десять лет назад приходилось уходить на зверобойных шхунах па два-три месяца и досыта мокнуть в воде — морском рассоле.

Но непохожим был и нынешний промысел. Таскали поморы в жестяных коробках, похожих на ванны, малых тюленьих детей — бельков, совали в дерюжные мешки с дырками, чтобы не задохлись они, грузили в двухэтажные контейнеры и везли на берег. Матери-утельги ревниво и обиженно кричали, задирая усатые морды навстречу вертолетным вихрям: зеленые машины, покидая льды, торопились к Зимнему Берегу. Зверобойная путина ныне мгновенна. Не успеют рыбаки

по родным соскучиться, как уже бани надо затапливать — домой работники едут.

Здесь, на Зимнем Берегу, все непохоже на Рязанщину или курские раздолья, здесь окраина России. Здесь море — поле, здесь и зимой собирают урожай. Зимний Берег — это серые глины, шумный прибой, стон чаек, удивительно пестрая тундра весной под низким небом и постоянное малолюдье.

В истории России Беломорье занимает свою особую заметную страницу. Здесь, в постоянной суровости и чистоте, в родовой мореходской школе ковался характер помора. Сотни капитанов поставил этот край в большой Российский флот, и поныне живут на Беломорском берегу знатные морские фамилии. Шестьдесят поморов Малыгиных из села Койда погибли на фронте, их имена высечены на обелиске, а еще десятки Малыгиных плавают во всех широтах. Это Поморье выковало династии Пустошных и Котцовых, Антуфьевых и Пономаревых.

Ведь как становились морскими работниками?.. Того же Федора Пономарева, о котором пойдет речь, отец взял в море, когда тому было восемь лет. Он только и сказал: «Давай, Федяшка, собирайся. Нечего тебе на берегу собак гонять. Правда, и на промысле ты пока не работник, но хоть ухи на морском ветре похлебаешь и вкус ее настоящий узнаешь».

А были тогда на Печоре, родине Пономарева, сложные двадцатые годы: трудно двигалась по тундре новая жизнь. Колдунам верили. Как на промысел уходить — через невод прыгали. Наговоры колдовские в поплавки прятали, обрывки сетей в чане варили и поливали той водой снасти. Молили бога, чтобы дал он удачи.

Это были годы, когда рыбаки еще жили в «буграх» — землянках, когда с тони на тоню водили слепого Ивана Ивановича Кабанича, а тот сказывал сказки. Он ничем не занимался, был родом из Пустозерска — пожалуй, последний житель покинутой деревни. Его водили от одной рыбацкой землянки к другой, и Федька Пономарев бегал сзади и тоже, забившись в угол сырой землянки, слушал слепого Кабанича.

Да, мы не можем быть иванами, не помнящими родства. Нам нужно знать историю своего народа, его обычаи, беречь жемчужину — фольклор, хранить па-

мятники. Но вдвойне нельзя забывать, из какой все же темноты вылез Зимний Берег и Летний, и Печора. Пономарев превосходно помнит не только мудрость дедов, но и ту дремучую застойную рутину, которая процветала в деревнях. Отголоски ее и поныне сказываются в хозяйской нерасторопности и нерасчетливости в делах. Вот, мол, сходили мы на траулере к Африке, рыбы наловили, денежки получили — и баста: живем до новой путины.

А интересно, что пониманию истинной ценности вещей, дел и поступков учил Федора Пономарева отец, учил с малых, совсем «глупых» лет. Однажды убежал мальчишка без спросу на речку, щурят завидно наимал, нанизал их на прут. Но тут гроза случилась страшная, пришлось в стоге сена пережидать. В общем домой заявился за полночь. И как рассказывал Пономарев: «Прибежал радостный, кричу: «Гляди, батя, сколько я щук-то наловил!» Думал, что он нахваливать будет. А отец рыбу матери отдал и меня прутом хорошенько высек, приговаривая: «Мы из-за тебя все расстроились, думали — утонул где. Пошто убежал не сказался?» Так и получил я от отца вместо «ордена» — порку. А с того раза и усвоил хорошую истину: радость даже с маленькой горчинкой — уже не радость».

Как будто самый незаметный эпизод из длинной жизни, но как прочно он осел в памяти Пономарева заметной зарубкой. Потом была вторая засечка, когда ему, пионеру рыбацкой школы, председатель сельсовета вручил винтовку, правда, без патронов, и поставил у дверей нардома охранять кулаков. А те в малицах сидели на полу, дымили самосад и кляли недоростка, поднявшего на них руку. Все же... как жизнь будущая зависит от самых первых шагов.

С детских лет Пономарев сразу вошел в самую гущу событий и теперь, нажив седины и морщины, не утратил способности восторженно и непосредственно переживать. Редкая черта для людей его возраста — свидетельство исключительной искренности.

*

Совсем недавно при самых интересных обстоятельствах мне пришлось жить в Зимней Золотице, на родине знаменитой поморской сказительницы Марфы

Крюковой. Стояли апрельские очень светлые дни. Круговые леса просыпались и, сползая с пологих холмов, несли на себе сиреневый дым — явный признак близкой весны. А сверху лился бесконечный голубой свет. Так много света можно найти, наверное, только в Поморье и именно в эти дни, когда где-то на горизонте, между льдами и небом, уже зарождаются длинные прозрачные ночи.

Наверное, в такие дни импровизировала свои былины Марфа Крюкова, удивительная хранительница оригинальной русской литературы. Земля, родившая подобных людей, требует к себе самого пристального внимания.

На Зимнем Берегу ходит интересная легенда. Когда деревня Кельи стала рушиться, то, умирая, глава общины повелел сундучок с золотом опустить в озеро, а цепь от него тайно провести на берег и спрятать в землю. «Кто найдет эту цепь, будет счастливым», — сказал он. Легенде на Зимнем Берегу верят, могут желающих сводить в лес и показать то озеро, где захоронен клад, но сами его не ищут.

А если вдуматься, то у легенды есть свой притягательный смысл. Ведь было время, когда с морем роднились, но и от земли не отворачивались: чистили чищеницы, валили лес и с горькой от дыма земли собирали хлеб. Потому и поговорка была: «Не с моря живем, а с поля». Если перелистать статистические отчеты, которые публиковались в сборниках Общества по изучению Русского Севера, то можно обнаружить одно интересное обстоятельство. Так, в 1912 году в каждой крохотной поморской деревушке — пусть то будет Пеша, Ома или Чижа — держали до полутора сотен коров, сотню лошадей и две сотни овец. Тогда еще не было комбикормов, а значит, корм скот получал только с местных лугов.

Может, ныне и не настало время снова вплотную обратиться к земле: мало рабочих рук, труд не механизирован достаточно. Но думать об этом нужно сейчас. Ведь море — это тот сказочный невод, который один раз может принести рыбу, а потом тину — как-то повезет. Все-таки землей всегда был крепок человек.

Но слишком мало было внимания Зимнему Берегу.

Оттого и оскудела здесь земля. Зимняя Золотица расположена на речном топком островке, Ручьи — на песчаной косе, Койда — на мшистом болоте. Может, селения нужно полностью отстраивать на новых местах, более удобных для жилья?

А сейчас мы подошли к такой границе, когда скудеют от рыбы и моря, и реки, и значит нужно заниматься рыбоводством. Да и звери покидают леса, поэтому нужны зверофермы. От десятков тысяч оленьих и тюленьих шкур при разумной полной обработке можно иметь постоянный доход, а это означает, что люди будут оседать в деревне.

Однако поморы пока с недоверием смотрят на затеи Пономарева. Траулеры, за которые он бился когда-то — это да, зверобойка на вертолетах — это замечательно. «Но ведь то старинные поморские занятия, а тут каких-то рыбок да зверюшек разводить. Кто его знает, на что еще вытянет?»

А Пономарев торопится: «Медленно, медленно разворачиваемся...» Порой и ругнет эмоционально, но не обидно. Люди у него не в «колдунке» — записной книжке, а в богатой памяти: он знает, кто когда женился, сколько детей сотворил и чем в жизни пригож. Особенно любит людей, жадных до работы.

При каждом удобном случае Пономарев обязательно вспомнит Николая Ивановича Корепанова, бывшего председателя на Печоре. На пенсии ныне Корепанов, но Пономарев считает, что нынешним руководителям колхозов полезно послушать о нем. Вот и рассказывает: «Помню, приехали к нему знамя вручать, а он в яме силосной вилами орудует. Кричим ему: мол, Николай Иванович, знамя вам вручать будем, надо людей в клубе собрать. А он из траншеи отвечает: «Знамя подождет, вы пока отдохните, а работе ждать нельзя». А как знамя получил, по всей деревне пронес и к себе домой заявился. Жена в штыки: мол, разве место знамени в доме, его в правлении нужно поставить. «А еще там настоится, — сказал Корепанов, — пусть хоть ночку постоит у нас, заробили мы его». И повесил на стене над кроватью. Есть же такие завидные до работы люди. На них-то и земля стоит».

Пономарев и сам жадный до работы, и, может, потому успехи не кружат ему голову, неудачи не гнетут

к земле. Вокруг его имени всегда шумно, всегда разноречивые толки, так как рядом с думающим энергичным человеком ужиться трудно: он неизменно кого-то подталкивает, что-то придумывает, внедряет, совершенствует в своем многосложном неповоротливом хозяйстве на многих сотнях верст — таком, что не объехать и за месяц при бездорожности его.

Помнится, как в пятьдесят восьмом Пономарев предложил сплошное сетное перекрытие через рукав Печоры шириной около двух километров. Тогда считалось такое предложение фантастическим, чем-то из области сказки. Но Пономарев, которому поморская практика и давний опыт подсказывали, что это возможно, во всех инстанциях доказывал на схемах и расчетах верность идеи. И сам обжился на Печоре. Забили здесь колхозники три тысячи свай, протянули сложную систему гигантской ловушки и стали семгу считать поштучно: одна семга в лодку, другая — на нерест. Раньше в сезон по берегу Печоры сидело у неводов семьсот рыбаков, теперь — семьдесят. Не нужны стали многие десятки кавасаки — для перевозки рыбы, холодильники, промысловые избушки, а себестоимость центнера семги снизилась в четыре раза. Уже четырнадцать лет ставится перекрытие, и благодаря этому ученые могут примерно знать ход нерестовой рыбы.

Деятельный практический ум Пономарева не дает ему усидеть в кабинете, несмотря на его пятьдесят восемь лет — предпенсионный возраст. И потому совершенно не случайно третий год подряд в апреле он наезжает именно в Зимнюю Золотицу. И не случайно ныне вертолеты перевезли на берег две тысячи бельков — тюленьих детенышей.

В гостинице «Белек» я встретил Пономарева в трудные для него дни, когда его идею проверяла на прочность сама природа. Под апрельским густым солнцем стремительно скатывался снег и сквозь него проступал холодный жесткий песок. На берегу за металлической сеткой лениво катались по снегу тюлени, вытаивая лунки и уютно устраиваясь в них. Их черные глаза задумчиво моргали.

Но откуда же в длинном вольере, похожем на загон для овец, вдруг очутились тюлени? Мысль доращивать бельков на берегу с первого взгляда казалась абсурд-

ной. Тюлени — и вдруг на берегу. Недаром, услыхав об эксперименте, все, даже ученые, задавали один постоянный вопрос: «Простите, а чем вы их кормите?» — «А их не надо кормить, они, как медведи, лапу сосут», — шутливо отвечал Пономарев, и ответ действительно был недалек от истины.

Группа авторов (Ф. Пономарев, Н. Касьянов и Г. Нестеров) взяли за исходное такое положение: молоко у самки тюленя в двенадцать раз жирнее коровьего, а потому детеныш ее за три недели накапливает слой жира до пяти сантиметров. Потом утельга-мать покидает дитя, белек лежит на льдине и линяет, одевается в богатое пятнисто-серое платье, превращается в серку. И что самое примечательное — в это время детеныш ничего не ест.

Но если белька можно добывать вертолетами, забрасывая на лед промышленников, то как же доставать серку, когда залежку зверя в апреле разносит по всему Белому морю? Тут и вертолет не поможет, но и к шхунам, которые приносят полмиллиона убытка за сезон, тоже возвращаться нет смысла.

Вот и родилась мысль: если серка голодает месяц, лежа на льдине, то почему бы в это время ей не вылинять на берегу? Так тюлени с помощью вертолетов очутились в вольерах.

А когда половина зверей благополучно вылиняла, пришло большое солнце, снег сошел, и песок стал забиваться в шерсть. Два дня шел аврал. Федор Пономарев, невысокий, грузный, споро бегал по комнате, размышляя вслух, что предпринять. Вчера часть тюленей из вольеров таскали на руках. И Пономарев таскал, а ноша не из легких: каждая серка килограммов за тридцать.

Уже поздно вечером «главная тройка» соавторов собралась на совет. Касьянов Николай Федорович, старший инженер Министерства рыбной промышленности, целый день стоял у мездрильной доски, орудовал длинным ножом и учил молодых золотицких парней обрабатывать тюленьи шкуры. В клеенчатом длинном фартуке, деловито-степенный, больше смахивающий на мастерового, Касьянов умел создать вокруг себя благожелательную атмосферу, ибо труд этот был понятен и близок ему. Сколько смеха и шуток было в мездрильном цехе.

где густой воздух наполнен тяжелыми запахами тюленьего жира, соды и постоянной сырости.

Вот и двенадцать ночи, а Касьянов не унялся. Он лежит в постели, а на уме у него работа: он захлебывается словами, вспоминая, что сделали за день и что предстоит выполнить завтра.

Геннадий Нестеров — биолог. Прибыл в Золотицу с Командорских островов. Видно, постоянное общение с котиками в течение многих лет наложило на него свой отпечаток — он флегматичен, несловоохотлив и, слушая Касьянова, только кивает головой. Но светлая, чуть смущенная улыбка не сходит с его желтого от постоянного загара лица.

Пономарев сидел, устало откинувшись на спинку стула, и Касьянова тоже не перебивал. Снял толстые очки, и по длинным морщинам, что глубоко высеклись вокруг глаз, стало видно, как чертовски он устал за эти дни.

Наконец сказал:

— Как хотите, а я спать. Устал, как пропащая лошадь.

И только повалился на кровать, прогнув пружины до самого пола, как тут же и уплыл в тяжелый беспокойный сон: видно, и там Пономарев что-то планировал.

И вот первый в мировой практике опытно-промышленный эксперимент закончен удачно. Разработана методика. Экономический эффект по сравнению со зверобойным корабельным промыслом — сотни тысяч рублей. Выдано авторское свидетельство.

А у Пономарева уже новые задумки. Он полетел на Каспий смотреть тамошние промыслы. Поморы с Зимнего Берега учат добывать каспийского тюленя. Сейчас они добывают рыбу у африканских берегов. Так почему бы не поделиться опытом и с каспийскими промышленниками. Ведь поморская школа — старинная щедрая школа.

Очень отрадно, что Зимний Берег, пусть пока робко, но нащупывает свою новую тропку для движения вперед.

3. ТРИНАДЦАТЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

С первого взгляда утонувшая в снегах деревня оставалась прежней: те же могучие дома-крепости в белой кипени сугробов, заиндевелая упряжка у старого деревенского клуба, узкая речка под старыми снегами, так похожая на забытую санную дорогу. Как и шесть лет назад, в первый мой приезд, все было тихо, постоянно и обжито, ничто не спешило и не волновалось в этой Сояне, убежавшей в тайгу на многие десятки километров.

Но это было только первое и обманчивое впечатление: такое складывается, когда смотришь на заснеженную реку и не видишь пробуждающихся водяных струй, весенне бьющих в ледяные оковы. Уже вскоре я заметил перемены, и не только внешние — десятки новых домов, но и более существенные — в настроении самих людей.

У хозяйки моей, куда я встал на постой, приехал на побывку сын. Анатолий наезжал частенько, раза два-три в год, как позволяла работа. Сейчас же побывка кончалась, и парню что-то затосковалось. Он не прочь был «пригнуть рюмку на лоб», но в то же время непонятная тревога грузом легла на душу. Он ее всячески подавлял, рассказывая забавные истории. Все хохотали при этом, а тетка его повторяла восхищенно: «Ну и дьявол...» Мать же только улыбалась, вытирая старые губы, и серые глаза за стеклами очков казались огромными и жалобными. Она пристально вглядывалась в своего веснушчатого сына, и улыбка ее была горьковатой: матери так хотелось, чтобы сын не пил и жил дома, да с женой, да чтобы детки пошли.

У Юлии Осиповны было пять дочерей. Их она при себе не удерживала: пусть едут в города — там и женихи краше. А вот сына хотела оставить дома, ибо дом без мужских рук — сирота. Но сын, вернувшись из армии, осмотрел тихий край свой, сходил в клуб, где на стульях вдоль стен сидели несколько девчушек-подростков, и уехал работать в город.

Однако город поманил-поманил, но «легкой жизни» не дал. И через шесть лет — то же холостяцкое общежитие и неустроенность, а в деревне — свой родной угол, «эвон какой, есть где размахнуться-разгуляться, да и на

заработки нынче не пообидишься». Но как тут решиться, чтобы разом обрубить все городские узлы: тут спешить никак нельзя, можно опять пообжечься. Так и эдак мозговал парень и прикидывал: «А что, если к осени вернусь домой... насовсем?

Он и старому деду прокричал на ухо:

— Дедо, нагулялся я, домой приеду насовсем.

— Приезжай, только с женой, говорю, приезжай, а то с пути криво пойдешь,— согласно ответил девяностолетний дед и прикрыл зарослью бровей старые глаза.

У него ныне выпали вдруг свои печали, которые он обдумывал и переживал.

Нет, я не для красного словца рассказываю и о веснушчатом госте из города, который раздвоился между городом и деревней, и об этом деде с толстыми очками на медных проволоках, которые он подвешивал на ночь к образу пречистой девы Марии, ибо они (и гость и дед) и председатель Клеопин связаны крепчайшей нитью.

Сейчас трудно сказать, как реагировал каждый селянин, когда Клеопин Николай Николаевич в пятьдесят девятом сел на председательский стул. Помещалось правление в старой крестьянской кухне, и стол «начальнический», за которым только после войны сидело двенадцать председателей, стоял напротив чела. И когда печь затапливали, то, вглядываясь в красные языки пламени, хорошо было думать. А помыслить всегда находилось о чем...

Клеопин появился в Ручьях неожиданно: после партийной школы вроде бы оказался сначала не у дел, а потом срочно приказали садиться в сани-розвальни и добираться в будущие владения. А в пятьдесят девятом Сояна считалась самой запущенной деревней. Судите сами, как тут жить: техники нет, покосы дальние и скудные, скотные дворы прохудились, буренки едва дают две тонны молока в год, озера запущены, сорная рыба, которую покупал рыбокомбинат по семь копеек за килограмм, в колхозную кассу прибыли не приносит, а семга — «лето на лето не приходится, как повезет». На трудодень получался почти нуль.

В Сояне народ был «вольный». И раз от колхоза прибыток был невеликий, то пробавлялись, как смекал-

ка позволяла. А Клеопин тогда телом не был столь крепок, как ныне, и щеки так ярко не розовели, только, наверное, черное крыло волос было еще гуще и плотнее, и надбровные дуги не так плотно оседали на быстрые глаза. Не было тогда здоровья у Клеопина: он еще не мог выправиться с военных лет, когда «фэзэушником» строил оборонительные сооружения в Карелии. Там их окружили немецкие части, но помогли саперы: по лесным тропам вывели людей из окружения, посадили в последние теплушки и, ослабевших окончательно, вывезли в тыл. А что и говорить, подростки, дети совсем... Клеопин от внутренней телесной слабости оправиться долго не мог. В Ручьях, где одно время он был секретарем парторганизации, заготавливая дрова у моря, после недолгой работы валился на песок, глядел в небо и стонал от бессилия: неужели так уготовано доживать остатние годы.

Нынче трудно судить, как бы повел себя Клеопин и что было бы с хозяйством, если бы столь весомо не помогло государство: были повышены цены на молоко и мясо, совсем недавно — на рыбу. Но нельзя сказать и то, что Николай Николаевич подсел к готовому столу — снимать сливки. Сколько тех же приморских хозяйств, даже в более выгодных условиях, и поныне не смогли расправить плечи. Нет, как ни говорите, но наше бытие во многом зависит от людей деятельных, энергичных, способных не только вспыхнуть однажды, а вести изо дня в день кропотливую будничную работу с дальним прицелом.

Деревня трудно расстается со своим прошлым, даже если было оно и не столь лучезарным. Все искренне говорят, что жили «больно неважно», но зато вольготно: каждый сам по себе. А пришел новый председатель, чуть поприжал, потребовал организоваться дружнее — заобижались.

Однажды молодой парень взял председательскую лошадь, сел на нее верхом и стал бить плеткой по глазам. Лошадь нервно прыгала, норовила сбросить озверевшего человека, а тот торжествующе посматривал по сторонам, ожидая, что будет делать Клеопин. А кругом стояли люди и молчали: они еще не знали тогда, уживется ли в деревне председатель, а вот этот, «отчаянный», останется здесь. Так стоит ли с ним связываться?

Клеопин бросился к лошади, стащил негодяя за ногу, и они забарахтались в траве. Потом парень бросился домой и прибежал с ружьем. Тут-то и опомнились люди, скрутили пьяному руки, посадили в холодную часть правления, где плотники не успели застлать пол.

Нет, нельзя сказать, что Клеопин один повернул деревню, это было бы неправдой. Но он был тем человеком, который первым взялся, засучив рукава, за накипь быта и неурядицы дел. Для начала он создал дружину и стал во главе ее.

Своим поведением в первое время председатель обескураживал сельчан: то в клубе занавески самолично развешивает, то плакаты и стенды рисует, то рыбаков фотографирует для истории колхоза. Но мало ли какие причуды могут быть у председателя... «Покрутится-покрутится, чемоданы в руки — и долой из деревни»,— рассуждали соянцы.

А вот когда Клеопин стал хозяйство ворошить и на новый лад поворачивать, многие воспротивились. Предложил председатель колхозному собранию суда купить. Ему возразили: «Этими судами мы проедим весь колхоз». Правда, коммунисты поддержали, райком помог. Взяли сейнер, маленькое суденышко, в кредит. И через несколько лет сейнер не только окупил себя, но и «наловил» из моря первые шестьдесят тысяч прибыли. А потом купили в Прибалтике подержанный траулер. Но честно говоря, а это Клеопин хорошо чувствует, несмотря на все последующие достатки, деревня не стала морской. И после богатых рыбных рейсов неохотно идут парни на суда: так и ловят момент, чтобы дольше пожить в родном доме. Вот и при мне двое матросов упорно не хотели уезжать на суда, просили разрешить им хотя еще недельку пожить в Сояне, пока траулер стоит на ремонте.

Ведь и самому Клеопину, наверное, несмотря на все экономические выгоды, ближе все-таки земля. Еще в шестьдесят шестом он затеял строить в Сояне первую по району полностью механизированную ферму, и об этом знала вся Мезень, потому как председатель развил бурную деятельность. Правда, не все получилось, как было задумано: оказалось не так-то просто «выбить» транспортеры. Но фермой своей Клеопин гордился и всех гостей обязательно вел в свежерубленый двор.

Вот и нынче он водил меня по своим владениям, показывал и мастерские, и гараж, и скотный двор, и пилораму с пристройкой, где мыслит поставить калевочный станок, чтобы снабжать жителей облицовочной дощечкой, и склады, и навес для техники, и стены птицефермы на четырнадцать тысяч кур-несушек. Это ухоженный производственный городок, большинство построек в котором оштукатурено. Возле некоторых разбиты палисадники, посажены деревья. Территория каждую весну убирается под метлу. Клеопин может позволить эти затраты, потому как в прошлом году колхоз «Сояна», где всего сто десять работоспособных, получил четыреста тысяч рублей чистой прибыли, в том числе почти шестую часть от животноводства. Если вспомнить «доходы» пятидесятых годов, то сразу видны будут разительные экономические перемены в дальней таежной деревне.

Очень помогло государство. Доход «Сояны» за последние десять лет вырос в двадцать раз. Разве могли бы раньше выделить из прибылей колхоза разовую премию в сорок пять тысяч рублей? Но, как считает Клеопин, деньги только способствуют хозяйственным замыслам, и если их не пустить в немедленный оборот, в первую очередь, в строительство, то деревню коренным образом не перевернуть. И потому Клеопин строит.

Поднять экономику хозяйства — значит вселить в души человеческие уверенность в значимости своего труда. А это процесс не сиюминутный, он длится многие годы. И здесь для любого председателя есть особая сложность: нужно удержаться, психологически не сломаться самому. Вот и Клеопину приходится жить под постоянным перекрестным прицелом людских глаз. И нельзя сорваться, ибо люди запомнят все.

Человеческие взаимоотношения сложны. Не случайно я начал повествование с сына моей хозяйки и деда, потому как жизненные интересы их неожиданно столкнулись, и случилось это не без участия Клеопина.

У него мечта облагородить деревню: большие старые избы извести под корень, а поставить вдоль изгиба реки светлые, под резьбой, чистые дома, да такие, чтобы сияла улица. Вы помните, дед зовет парня домой, в родовое гнездо: «Только с женкой приезжай». Клеопин тоже зовет всех в родовое гнездо, но совсем в дру-

гое. Правда, светлое желание председателя наталкивается порой на старые привычки.

Вот так и получилось, что девяностолетний дед восстал. Он не желает, чтобы его родовую крепость сносили, хотя на месте его дома по генеральному плану должен быть новый клуб. Деду построили новый дом с русской печью и передают в вечное пользование, но старик не покидает угрюмую родовую крепость. Он грозится: «Если вы даже перевезете меня в новое жилье, то я кровать перетащу на родимое пепелище и тут спать буду». У этого деда протест неосознанный: вряд ли ему приходит в голову, что своим упрямством он препятствует новой деревне. Но самое печальное, что даже куда более молодых сельчан порой тоже не очень-то волнует будущее Сояны, а значит и будущее своих земляков. Ведь есть еще веснушчатый сын моей хозяйки Юлии Осиповны, который пока только присматривается к деревне, есть и многие другие, которые покинули свое родовое гнездо.

Клеопин над этой проблемой думает, болеет за судьбу каждого человека, часто бывает в школе, выступает перед восьмиклассниками, рисует перед ними заманчивую перспективу будущей Сояны. Председатель знает, что молодежь подсознательно больше всего боится тихой размеренной жизни, потому и уезжает в города, чтобы окунуться в их стремительный ритм, и чтобы удержать ее в деревне, нужно строить и постоянно обновлять Сояну.

Клеопин сумел увлечь своим настроением школьников. Одна ученица в сочинении на тему «С кого я хочу брать пример в жизни» назвала Николая Николаевича. Соянские ребята, что учатся в Долгощельской школе-интернате, отличаются пылким патриотизмом.

Но чтобы укрепить у молодежи любовь к родовому гнезду, надо подкрепить слова и мечты материально. Довольно интересная ситуация сложилась ныне на Беломорском Севере, и Сояна, мне думается, тут не исключение. Когда-то в деревне после войны редким был мужчина: одни сложили голову в боях, другие ушли из послевоенной деревни в город на заработки, и стали деревни «женскими». Потом забогатели поморские селения, появились суда, техника, заработок установился солидный, порой куда выше, чем в городе, и парни

теперь возвращаются обратно. А вот девушки вдруг стали покидать деревню. С одной стороны, и родители не удерживают их, с другой — не находится работы. На ферме доярки работают до самой пенсии, а других производств нет. Да и не каждая «рвется» на ферму, хотя и заработок там высокий. Некоторые девушки и не прочь бы вернуться в деревню. Но что там делать?

Клеопина эта проблема волнует уже не один год. Он и птицеферму на четырнадцать тысяч кур-несушек начал строить не только «для экономического амортизатора». Что греха таить, рыба ловится не всегда удачно: год на год не приходится. А птицеферма — это и прибыль постоянная, и в то же время возможность дать работу десятку девчоночьих рук.

Клеопин понимает, что девчоночьи руки нужны не только для подъема экономики. Сояна хоть и на подъеме, и молодых парней в ней много, но свадьбы здесь не было уже несколько лет. Сейчас, конечно, рано говорить: вот, мол, будут девушки — будут и свадьбы. Вопрос это щекотливый и планированию трудно поддается. Но такая проблема в северной деревне существует.

Экономика колхоза — одна сторона нынешней деревни. Но еще сложнее, пожалуй, поднять духовную жизнь Сояны, и без молодежи это затея напрасная. Нужна сельская интеллигенция. Своих парней и девчушек, тех самых, что писали в анкете: «Мечтаю жить в Сояне», нужно учить на врачей, учителей, воспитателей детских садов, культработников. Поморью нужна своя интеллигенция, потому как наезжие долго в таежной глухомани не уживаются, а значит, на привозные кадры надежда слабая. Но как выучить своих, если в Сояне нет учителя иностранного языка, рисования, музыки. И, видимо, этим можно объяснить, что из 105 ребят, что за последние десять лет окончили школу, только один получил высшее образование. И это тоже проблема, которая требует пристального внимания.

Сколько же нынче в маленькой и пока тихой Сояне, а значит и на Зимнем Берегу, проблем, которые сплетаются в один прочный клубок! И очень отрадно, что нет уже прежней деревни, что видимые и значительные перемены здесь не только внешние, но и в настроении самих людей.

Портреты



ГОСУДАРСТВЕННАЯ БАБУШКА

> Это не простая, а государственная бабушка. Кривополенова такое же наше достояние, как и наши произведения искусства.
>
> Она живой памятник народной культуры.
>
> *А. В. Луначарский*

Удивительна и необычна судьба у Марьи Дмитриевны Кривополеновой. Первый раз отыскал ее среди пинежской тайболы, в маленькой деревушке Веегоры, известный собиратель былин Григорьев. «Записал ее на пластинку с трубой», уехал, и опять затерялся след «последней из могикан», талантливой сказительницы, которая в общем-то и замыкала особенно заметную и необычную ветвь северных сказителей, доподлинно исполнявших былины и песни в манере пятнадцатого столетия.

Но вот однажды совершенно случайно на след Кривополеновой наткнулась известная артистка и фольклористка Ольга Эрастовна Озаровская. Это утро в ее воспоминаниях выглядит каким-то чудом.

...Сквозь розовые волны сновидений вдруг прорвался бархатный голос. Бессознательно очнулась. Через полуоткрытую дверь была слышна песня. По прохладным половицам тихонько на цыпочках подошла, выглянула. Рядом с хозяйкой, Прасковьюшкой Олькиной, сидела крошечная старушка и увлеченно пела о «Кострюке, сыне Демрюкове». Пела, порой прерывая себя и горячо поясняя, что к чему, и счастливо смеялась.

Да, эта находка была воистину удивительной. И когда, наскоро плеснув на лицо колодезной воды, Озаровская затащила Кривополенову к себе, та нисколько не удивилась столь пылкому интересу к своей особе. Пела Марья Дмитриевна охотно и много, с небольшими промежутками, чтобы передохнуть только. «Машины с трубой» не испугалась, свои былины слушала с интересом, лукаво щурилась, часто оглядывалась по сторонам, словно других приглашала. Довольно улыбалась, и тогда глубоко посаженные глаза совсем убегали под старческие веки. Чистосердечная и бесхитрост-

ная, она не умела скрывать своих чувств под маской благочинности, и вся отдавалась своему настроению. Но когда слушала записи других сказительниц, лицо ее каменело, маска безразличия ложилась на лицо, губы обидчиво подрагивали. К песням Кривополенова была ревнива. Озаровскую покорило обаяние сказительницы. Она не удержалась от искушения и повезла семидесятилетнюю старушку по большим российским городам, чтобы показать «жемчужину» во всем ее сиянии.

Марья Дмитриевна держала себя в столицах очень гордо, поклоны ее были истовые, улыбка обаятельная, смех заразительный.

...Маленькая старушка, похожая «на лесовика», с пестрыми рукавичками в руках сидит посреди сцены на стуле. У нее пергаментное лицо. Вдруг вскакивает и поет необычно густым голосом, почти мужским.

Ее песнь врывается в душу неожиданно, будит что-то теплое там, тормошит. И в это время в зале и на сцене живут только глаза и голос бабушки Кривополеновой. В зале все задыхаются, как под большой волной, и когда она кончает петь, еще минуту никто не может передохнуть, а потом бросаются почтительно целовать ей руки, руки, которые протягивались за милостыней в северных деревнях. И певцы восторженно восклицают: «Какой голос, какая дикция, какое дыхание. Итальянская школа...»

А она, когда выходила из театра и швейцар подавал ей верхнюю одежду, конфузливо в душе, но внешне благородно и как-то свято произносила: «Господь с вами, не надо. Мы ведь нищие». И, уходя, давала на чай десятку.

Это было в девятьсот пятнадцатом. Потом затерялся след Кривополеновой. Но судьба опять доставит ее «на железном коне» в Москву. По просьбе Луначарского приедет она на открытие третьего конгресса Третьего Интернационала. А перед последним путешествием Марья Дмитриевна, уже преклонная старуха, проплывет на лодке по реке Пинеге от деревни к деревне и, кланяясь в пояс, будет радостно восклицать: «Прощайте, люди добрые. Знать, земля огромна, людей много, совладать с ними трудно, так вот, собирают нас, старых, порядки обсуждать».

Но вот и в ее жизни случился неизбежный конец,

тот самый последний день, который Кривополенова дожила столь же будничто, но столь же и необычно, как прожила и предыдущие восемьдесят лет. А день этот кончался так...

Деревню наглухо запечатало снегами, придавило сверху вечерним небом. Притихли Веегоры. Не скрипнет колодезное колесо, не взлает собака. Кажется, что только в Настасьиной избе, откуда вышла Кривополенова, только и есть жизнь.

Старушка потуже перетянула платок, шагнула с крыльца в снег. Радостно засмеялась, погладила тряпицу в берестяной корзинке. Ладонь ощутила тепло: «Спасибо Настасьюшке, с пылу шанежек-то подала. Вот внучата обрадуются».

Низовой северный ветер проник под заплатанную шубейку, перехватил дыхание. Ноги что-то ослабли. Голова закружилась то ли от старости, то ли от болезни недавней. Тугая на уши, Марья Дмитриевна не слышала ветра, только чувствовала щекой его шершавую ладонь. Почти слепая, в вечерней сумеречности она совсем утеряла деревню и тропку, что куда-то неожиданно сбежала из-под валенка.

Еще вчера сказительница побывала в Пиренеми у Василия Стирманова, учителя. Просила письмо написать. Притулилась у краешка стола, погладила учителеву руку: «Васенька, отпиши Ольге Эрастовне, что плоха я нынче. Совсем убилась».

Стирманов всмотрелся в лицо старушки. Совсем ослабла. Зеленые тени легли по щекам, глаза прозрачные до белизны, убежали в провалы, и мелкая сеть морщин исписала лицо.

Сколько лет знал учитель Марью Дмитриевну, и казалось ему, что она всегда была такой, старой и морщинистой. В этом домотканом синяке-сарафане с розовой заплатой на груди и пестрой рубашке. И бурый повойник на голове.

...Ни богатством, ни красотой не удалась Марья. Оттого, видно, и досталась в жены самому завалящему мужчине, который, кроме скверного характера, имел дурную склонность «прибирать к рукам все, что плохо

лежит». Потом и его прибрали в острог, откуда он бежал и был убит на одной из незаметных дорог сотоварищами за несоблюдение воровского закона. А Марьюшка, чудом сохранив от смерти последнюю дочь, на судьбу свою не сетовала громко, а как-то безропотно и покорно подчинилась ей, сохранив до последних дней мягкость души. Только теперь она не расставалась с почернелой от времени берестяной корзинкой. Уж и сверстники померли, и молодые постарели, — только не менялась Махонька (так ласково прозвали Марью за маленький рост). Словно ягодина, каталась она по окрестным дорогам. И если выйти зимой за околицу Веегор, видно было, как черной горошиной катится она по почтовому тракту.

И вот бегут к ней из деревни ребятишки. Кубарем валятся с горы, хватают старушку за подол. И она пропадает в ребячьем гомоне. И так волокут в избу к Стирмановым. Кривополенова залезает на печь, несколько минут лежит на горячих кирпичах, тихонечко постанывает, охает, потом начинает из душной темноты: «Сказать вам правду истинную, как Капитошка крестьянин царевнины лбы золотил...»

...Махонька еще раз притронулась робко к учителевой руке: «Васенька, отпиши. Обиделась я на Нацярского. И забыл он меня совсем, и в пайке мне отказано. А у меня внуки ись хотят. И еще отпиши, что патрет егов я к стенке ликом приткнула, как омманул он меня, старую. Отпиши, Васенька, все как есть».

И следила настороженно за учителевой рукой, потом невидяще обежала полуслепыми глазами столь красивые буквы и вчетверо согнула бумажный лист.

— Ну вот и покойна я.

И хоть перед Нацярским (так старушка звала Луначарского) благоговела, тем горестнее было ей, что такой великий человек и вдруг позабыл ее. Только одного не могла знать Марья Дмитриевна, что академический паек задержали не по вине наркома, а не сработал где-то тут, совсем рядом, маленький бюрократический винтик.

Вчера она сразу и письмо самолично на почту отнесла и крестик для надежности в самом уголке на конверте поставила, своей рукой прикоснулась, а вот сегодня совсем сомлела, хоть становись тут же на карачки и волком вой — такая немощь пала на Марью

Дмитриевну. Раза два она еще в полном сознании успела упасть в снег. Руки закраснелись и совсем не чувствовали холода. Проваливаясь по пояс, растирала смерзшиеся ресницы и в полубеспамятстве нашептывала: «Шанежки-ти совсем застыгли. Ну как тут Васенька ись-то будет. Сиротиночки вы мои, без мати, синеглазы».

С этими мыслями и силы откуда-то прибыли. Добралась до избы, поцарапалась в обледенелое окошко. И уж не помнила, как втаскивали ее, растирали холстяной дерюжкой. Кто-то причитал добрым голосом: «А как заколела совсем наша Махоня, сиротина-то вековечная».

Как река во время половодья обнажает скрытые от постороннего глаза береговые земные пласты, так и горячечный бред, что захлестнул Кривополенову, вдруг сорвал засовы памяти и расторможил ее. Обрывки видений смешались в яркий калейдоскоп.

— Андели, да не Москва ли это? — повела глазами Марья Дмитриевна и обомлела. — Осподи, да все правда. А сколь и башни-ти невелики, да сколь непрочны белокаменны. А сколь косья здесь понавалено, сколь слез повыплакано, сколь счастья порассыпано. Андели, андели! Много звону плавает по Москве. А не здесь ли под плитой каменной Марья Темрюковна успокоилась. Вот и мост Каликовый. Прошлась по нему, запела: «А и много по этому мосту было хожено, а и много было езжено, того больше крови пролито».

...А в зале-то сколько народу. Кругом чинность и благолепие, и мраморная красота. Консерватория. Бабушка Кривополенова по зале прошлась, поклоны раздарила, сцену рассмотрела, чтобы четче себя установить. Все это между прочим. В душе волнение, в голосе спокойствие. Мгновение помолчала, будто настраивала себя на консерваторскую тишину, душу свою послушала и вдруг в публику кинула первые слова:

— А как руцькой махну, платоцьком тряхну — всем припевать.— Еще помолчала, губы поджала, хотела на стуле посидеть, но раздумала. Куда и робость девалась.

— Во камене искры нет — во молодце правды нет.

Ну и бабушка! Как на мужчин кинулась... Речитатив заскакал по залу. Мужчины возмутились. Подхватили бабушкину припевку:

— Во девице правды нет, во девице правды нет. Правды нет, правды нет! То ли, се ли, нам на что ли, говори, что правды нет.

И в ладони захлопали. Какое-то расторможенное состояние, когда взрослые вдруг теряют степенность и чинность, будто сдали их на хранение гардеробщику вместе с верхним платьем. Ну чем не дети! Друг дружку по спине хлопают. Вдруг побежали, на сцену взобрались, бабушку Кривополенову на руки подняли, целуют. Та, счастливая, отбояривается, ручками старческими отмахивается:

— Уж порато не тряхните... Косье растрясете.

А что на руках понесли, так и это не внове. И в Харькове носили. А нужно заметить, что Марья Дмитриевна охотница до сладостей. Увидит торт, глаза сразу тают, рот в улыбке расплывается — ребенком становится. Так вот об этой ее слабости прослышали харьковские гимназисты. И вы знаете, что они надумали? Поднесли сказительнице полпуда конфет после выступления. А в епархиальном училище слушатели в такое буйство пришли на ее выступлении, что бабушку на стул посадили и над головами через все здание пронесли.

Вернулась Марья Дмитриевна на Пинегу, а в Веегоре ее уже и хоронить собрались: нет и нет старой, совсем затерялась.

И вот вплывает Махонька в избу к Стирмановым.

— Здрасте, люди добрые! Московка к вам пожаловала.

Сделала несколько поклонов, закрутилась потом, завертелась по избе, завыкаблучивалась. Нарядная сама, в новой беличьей шубке, а в руках мешочек «баской», наподобие редикюля. Набегалась старушка по избе, потом села отдышаться, шубейку скинула, а под нею все тот же домотканый синяк-сарафан с заплатой.

Кто-то попробовал упрекнуть, а Марьюшка ответила:

— В чем садилась, в том и слезла. Хоть в Харькови ни на лошадях не ездила, ни ногами не хаживала —носком носили.

Заахали все:

— А Москва-то, она какова, а?

— А что Москва... Как и Пинега. Будто жерди только в Пинеги чуточку толще будут.

Потом сумку свою распотрошила, на стол содержимое вывалила: с десяток сарафанов и кофточек — дареное все. Простенькое, но яркое. Внучатам привезла.

— Сколь ты не богатюща нынче, Марьюшка.

— Да что вы, бабоньки. Как в Архангельско-то прикатила, так меня в кошеву, да в медвежью полость завернули, как царевну, чисто дело. Через Двину катонули, так городовы-ти шапки скинывали. Ихне дело таков — кто на тройке, тот и болярин. А я что? Нынче художники голову мою тяпали, да разрисовывали поразному. А подарками, богасьвом я нынче одарена.

Услыхал Кешка Соболев, зять Марьи Дмитриевны, такие слова и, загоревшись тайной мыслью, под ручку домой тещу спровадил. Кешка — говорун каких поискать, кого хочешь усыпить может. Недаром Кешку Соболева на Веегорах Коктем прозвали. Объехал Марьюшку на ровном месте, только ветром обдало. Деньги, две тысячи рублей, ухватил и быстрехонько растряс. И пошла старушка, у которой совсем недавно целовали руку столичные знаменитости, с зачернелой от старости и дождей корзинкой по окрестным деревням «по кусоцьки».

Только нынче в корзинке почетный диплом и медаль «За научные труды и заслуги». Все это из Москвы привезла. Правда, медаль Марья Дмитриевна вскоре утеряла, а на дипломе из твердого картона... испекли пирог.

*

Марью Дмитриевну сотрясал жар и бред. Но, может, от наваждений всяких, может, от постоянной заботы о внучатах — «ведь и залеживаться тут не у места», только Кривополенова вдруг очнулась, приподняла такую вдруг легкую голову. Сознание прояснилось, и мир стал отчетлив и прозрачен. И уже мудро так, из бесконечности, как на маленькое пятно посреди мира, смотрела на Апраксию, широко раскрывшую рот, и на Ошуркова, что не донес вдруг блюдца до рта, да так и застыл.

Кривополенова вдруг подумала, что ей очень жарко и жестко лежать на печи, и она сделала движение рукой вниз. Ее поняли и перенесли на лавку. Жар в костях пропал. Приподнявшись на локтях, сказительница вдруг запела освобожденно и просторно низким грудным голосом, как певала лет пятьдесят назад. А может, ей только казалось, что красиво получается. Но люди слушали: «...Иниа, где моя княжна да Катерина молода? Говорят, да слуги верны: да как княжна да молода... Твоя матушка родна, да златолюбчива была...»

Так второго февраля 1924 года в зимний непогодный вечер умирала Марья Дмитриевна Кривополенова. На каком-то слове она запнулась, уже не хватило дыхания. Какие-то туманные видения еще носились в голове, но уже нестерпимо мерзли ноги. Бесчувственную, с застывшей на устах песней Кривополенову уложили в сани и повезли на другой конец деревни.

Похоронили ее под молодой сосной в двух километрах от Чаколы. Посреди многих крестов застыл простенький, серый. Потом через несколько лет побывала здесь уже седая и старая Ольга Эрастовна Озаровская. Она снова приехала отыскивать Кривополенову, словно та была человеком с бесконечной жизнью. Но узнала Ольга Эрастовна в Веегоре, что сказительница умерла. Нашла Озаровская могилу бабушки, воздвигла большой деревянный крест. Потом и он упал, и встала на том месте пирамидка крошечного обелиска.

МАРФА-ПОМОРКА

О, былина! Детям забава, юным утеха,
старым отдых, работным покой.

Борис Шергин

Может, рисковый труд и родил когда-то в Поморье такое неподдельное уважение к доброму и замысловатому слову, но только сказочник и «былинщик» еще и в начале века были на промысле в постоянном почете. Так, на Соловки приезжал великий говорун и баюнок Николай Нестерович, по кличке Фараон.

Жили промышленники-золотичане да лопшари в избушках длинное время, доставали зверя, так первое место за котлом ли, за столом ли всегда было Фараону. Посадят его в середку. Находились такие люди, что и табак ему крутят, другие чай доливают. А у Фараона слово слово родит. Из темноты только доносится: «А ну-ко, Николай Нестерович, сказывай еще сказку — все время быстрее идет». А уж Николай Нестерович такой был до баек сам не свой, ночь проговорит и, только услышав очередной всхрап, прикрикнет на темноту: «Спите, што ле, крещеные?» А кто ли и отзовется: «Живем, батюшка, Николай Нестерович, живем». И течет далее былина.

Труд сказителя почитался самым высоким. А потому и выделялся сказителю пай промысловый — большой. Искра импровизаторского таланта была столь теплой и светлой в студеной и бесконечной февральской ночи, что в ее сиянии виделся какой-то сторонний, совсем иной мир: «Ведь с нар не слезешь, а на многое что посмотришь и чудное что разумеешь».

Под зыбучий свет сальника, когда еще дымный угар не весь вышел в дыру-пятник и сизо плавает под потолком, когда ноги разломило от долгого бега по неверным льдинам, а спина болит от юрова — тюленьих шкур, и руки разъело водой и солью, и ночь придавила избушку непроницаемо, а внизу, под самой горой шуршит беспокойное море — вот в эти минуты другим встает и шумное киевское застолье, и венценосный князь

Владимир, и мед по-иному льется по шелковистым усам. Не будь такого говоруна, когда и промысел порой не в лад идет, когда и в бане месяц не мывались, когда едой-то поистратились — тут уж тоска нагрянет, и, кабы не веселое слово, «вот тут и вешайся».

Длинен был путь былины не только в веках, но и тропами долгими прошла она по России, пока осела в пинежском суземье, да так дословно, будто на «листвяной» доске высекли: ни словечка не добавила «государственная бабушка» Марья Дмитриевна Кривополенова. Но, добравшись до Поморья, на Терский Берег и Зимний, расцвела былина виртуозно и многокрасочно под плеск протяжный моря и вскрики чаек, ибо в длинные вечера «одну песню тошно слушать».

Тут, на Зимнем Берегу, нашлась достойная хранительница народного творчества Марфа Крюкова: она как бы собрала в себе те десятки тысяч стихов, что докатились до моря, и, переполненная этим богатством, тихо, незаметно жила в своей Золотице.

Потом время другое настало: пароходы большие поплыли по морю, «железные кони» пошли по земле, полетели по небу «стальные птицы», и можно стало самим разглядеть мир. А Марфа Крюкова так и оставалась со своими сказками.

Но однажды вспомнили о ней: ведь народное достояние забыть нельзя, а Марфа Крюкова была таким национальным богатством, целой сокровищницей оригинальной русской литературы. Стала Марфа собираться в города стольние, и тут изумились золотичане, словно никогда у них былины да сказки в чести не были: «Нашей-то Марфе да такие почести?»

Сам председатель сельсовета пришел к Марфе в большой глухой дом, осмотрел старушку перед отъездом, а у той валенки были рваные, так весь вечер чинил-ремонтировал самолично.

* *

Настоящий талант — это не та искра, от которой только и остается легкий запах гари. Скорее — это звезда, которая хоть и гаснет со временем, но свет от нее еще долгое время согревает и тревожит нашу память.

Совсем недавно, апрельским шальным днем, я был в Зимней Золотице. Побережник гнал по берегу песок, снег был легок и истаивал на наших глазах, солнце пенилось и прело, море стояло выше нашей головы, и горизонта не было совсем, ибо там, далеко, еще были льды, и оттого море сливалось с небом.

Высокие холмы, закиданные лесами, осаждают деревню: Золотица убегает от стремительных круч ближе к морю. Дома сбились беспорядочно, и единственная улица похожа на извилистый засыхающий ручеек.

Хотелось настроить себя на воспоминания: в памяти моей фотография, а на ней Марфа Крюкова, статная женщина в длинном сарафане с оборками стоит на берегу моря. Скуластое поморское лицо обтекает летний ветер. Она, наверное, стояла близ самой воды, у тех недалеких холмов, которые похожи на верблюда.

Далеко ушло то время. Нет и того дома, где она жила и куда в зажиточную семью Крюковых вошла мать ее, Аграфена. С Терского Берега привез себе жену Семен Крюков. Нежиться в большой семье особо не дали, в работу пустили, но при любимом-то муже и работа в пушинку. Жили душа в душу, но дети не шли. Может, потому, когда родилась Марфа, хилая девочка, «не жилец на этом свете», тешили ее и холили.

Нет больше родового дома. Около того места стоит теремок, расписной домик, который поставили позже, когда Марфа стала государственной знаменитостью и ей орден дали, и когда на каждом «городском» пароходе стали наезжать к ней гости. И она в этот теремок гостей приводила, а сама жить оставалась в угрюмом доме. Она и душу свою всегда делила напополам: одна половинка для той жизни, которой внове жила, а уж остальное — для сказок.

Я ходил по Золотице. Пахло тюленьим салом и хоровиной — мокрыми шкурами. Встречались поморы с ножами в деревянных ножнах, их резиновые сапоги матово блестели на солнце. У речки тарахтел трактор, а разговоры в домах были о сейнерах, об Африке, о весне.

Я разговаривал с золотичанами и величественной, важной Марфу Крюкову представить не мог, а видел ее морщинистую, с тихими и мудрыми от длинной жизни маленькими глазами. Ведь как ни велика слава, а вре-

мя одинаково расправляется со всеми и одинаково сутулит плечи и морщинит лицо. Наверное, была она такая, как подруга ее, товарка старая, одинокая ныне вдова, которая знает латинский и старославянский языки и в добротных комнатах похожа на старинного письма икону. Ну разве чуть посолиднее, а нрав столь же крут и гордоват, и чуточку несносен.

Только нежданная ли была эта слава? Словно с малых лет чувствовала Марфа свою непостоянную и тяжелую судьбину, которую нужно было испить до дна. Ведь вскоре получится для нее, что «из холы, да в горе». В ранние годы мать Аграфена пела над зыбкой: «Спи, моя доченька, спи, моя голубушка, уж ты вырастешь больша, будет косанька долга...» И двоюродный дед Ганя качал колыбель и приговаривал: «Спи, моя внученька, спи, моя Марфидочка. Вырастешь большая, станут новгородцы-ребята низко кланяться, станут новгородцы все ведь свататься».

А однажды приехала в деревню женщина — у соседа остановилась — не поморская обличьем, сухая станом и на лицо чернявая — не то цыганка, не то из другой какой нации. Принесла Аграфена двухлетнюю Марфу. Оглядела странная гостья девочку и сказала: «Ей такая судьбина: придет важливый молодой человек и увезет далеко. Придется ей в дальности побывать, будет ей планета знаменита, все будут ею диоваться».

Так что славу Марфа Крюкова с детских лет дожидалась. И потому еще многие годы сестра родная будет смеяться над Марфиным предназначением, ибо «молодец важливый» не наезжал, никто не сватал нашу Марфу. А тут еще одно несчастье случилось: наколола она глаз на покосе.

Отец все хорошего жениха для Марфы подыскивал, нос воротил от незавидных, оттого и младшая сестра Павла в девках долго сидела, ибо не могла старшую, Марфу, опередить. Но уж потом пристал сын Иван, стал отца попрекать:

— Хочешь девок плодить, да крышу има крыть?

— А дело не твое, не твой кусок бабы едят, — упорствовал Семен. Обожал он старшую дочь и счастья ей хотел большого. — Нет, мы не жалеем, что сватаются на Павле. Павлу мы обцениваем, а старшу боле того.

Как третий раз пришла сваха к младшей дочери,

не смог Семен Васильевич отказать. Свадьбу играли неделю, танцы были, пляски были, телушку трех годов зарезали, двух баранов и овцу годовалую, рыб было множество, вина напились.

А у Марфы так и не стало семьи. Да и кому в деревне нужна такая жена, которая «завсегда лежит на старинах да на книгах»?

Потом отец умер, и мать только на год его пережила: «при белых-то голодно было, вот и ушла на тот свет от олабушек из соломы да мякины, померла от пропитаньица». Два брата женились, свои семьи заимели. Стала Марфа искать себе опору, к кому бы голову приклонить. Ужилась около холостого брата Артемия. Но в тридцать втором и Артемия не стало. Марфа все вещи распродала, чтобы выручить брата из болезни, но так и не выручила.

А «важливый молодец» все не наезжал, Марфа жила в непонятном одиночестве: «Пущай такая жизнь не приключается ни дородным добрым молодцам, ни девицам, белым лебедушкам; она пущай со мной оставаится, в моей памяти во горькой».

В тридцать четвертом приехала в Зимнюю Золотицу за песнями Антонина Яковлевна Колотилова. Спрашивала золотичан о песнях. Направили к Марфе- говорунье.

Как вспоминала Колотилова, была зима, мороз лютый выстуживал углы, и те громко ухали. Половицы скрипели, что-то бродило и шуршало в дальних комнатах огромного дома, и всю ночь гостья мучилась одиноко в кошмарных страхах. На ночь Марфа Семеновна уходила из дому. На деревенских улицах она била колотушкой, охраняя сельский покой. А днем пела старины и песни и этим буквально очаровала Колотилову.

Благодаря стараниям Антонины Яковлевны, сказительница Марфа Крюкова была вырвана из безвестия. Дали ей персональную пенсию, пригласили в Архангельск. Почитатели ее таланта — был среди них и артист Игорь Ильинский — гурьбой пришли к ней в гости. Ильинский все удивлялся и не мог поверить, что старая женщина держит в уме двести листов текста.

— Ну, «Евгения Онегина» наизусть — понимаю, — говорил он. — Я сам «Старосветских помещиков» наи-

зусть читаю. Но двести листов стиха... Ну нет, простите...

В те же дни пригласили сказительницу в радиокомитет. Певицы из хора Колотиловой были, старик Писахов был. Закрыл микрофон спиной и говорит:

— Расскажи-ка нам, подруженька, сказку.

До этого вроде бы связанной по рукам-ногам была Крюкова: столь неловко себя чувствовала. А тут сразу робость пропала, слова появились, сказка полилась о Иване Царевиче. Выступила — ей и открылись:

— А ведь вы, Марфа Семеновна, на всю область сказывали.

— Ой-ой-ой, — заохала Крюкова, — я, наверное, наврала, всякого наговорила.

Марфа к своим былинам относилась ревностно. Только старины «крюковского рода», что от матери и деда переняла, да редкие мезенские пропевания были у нее в чести, а остальное, по ее словам, «все враки, все переврано».

Марфа Семеновна наизусть знала восемьдесят тысяч стихов и относилась к ним, как к неписаной доподлинной истории. Так, пела однажды былину о Дунае, который убил жену, и возмутилась: «Вот какой был муж! А что убить? Варвар был, прямо, не человек! Ужель не знал, что она беременна была?»

По воспоминаниям московского журналиста Викторина Попова, в апреле тридцать восьмого года повезли Марфу Крюкову на Кавказ, к морю Хвалынскому (Каспийскому), о котором пела она в своих былинах. А как подъезжала, волновалась и все расспрашивала пассажиров и кондукторов: «Скажите мне, где здесь город Концырь, в котором не царь царил, не король королил, не князь княжил, а управляла во всех делах Маринка, дочь Кондалова? Она хошь и славилась вроде королевной, но была хитрая ведьма, Илью Муромца даже завлекла. Бессовестная была — так и называл ее Глеб-князь, сын Володьевич».

А пассажиры на Марфу Крюкову поглядывают, смущенно пожимают плечами: какая странная старушка. А сказительница спрашивает людей сторонних и тоже дивуется, как это Концырь не знать: «Я хорошо помню, что город Концырь где-то в этой местности. Может быть, он немного подальше, в странах арапских?»

Марфа была жителем сказочного мира, она населяла его героями и злыми существами, а настоящая жизнь протекала где-то вне ее. Часто текст Марфиной старины зависел от настроения. Пропев стих, Крюкова тут же начинала его шлифовать и пела снова. Пела и порой не знала, чем кончится старина. О молодых же сказителях говорила ехидно: «Молодяжник! Сочинить-то они хотели, да у них не рожалось ничто».

Два года подряд Марфу Семеновну записывали в Москве. Как вспоминал писатель Константин Коничев, в маленькую комнатушку, бывшую слесарную, где в углу еще сохранилась груда железного лома, чуть слышно доносится городской шум, единственное окошко выходит на московский дворик. На столе ворох карандашей, тетради; на ветхом диване, сложив на коленях руки, сидит, слегка склонив голову на плечо, Марфа Семеновна и поет без конца. Две сотрудницы Государственного литературного музея записывают пропевания ныне знаменитой сказительницы. Закончив длинную старину, Марфа Крюкова улыбается широким лицом, кончиком платка вытирает губы.

— Долга старина-то была! Я и то соскучилась, а ты, верно, дитятко, устала писать? — спрашивает она сотрудницу музея.

Дома Марфа Семеновна пела помногу. Вот и в Москве поет ежедневно по восемь—десять часов уже месяц. Когда старины были записаны, получилась стопа бумаги в метр высотой. Были они изданы в четырех толстенных томах. Но в памяти Крюковой остались еще тысячи сказок, загадок, пословиц. И все это суждено было хранить одному человеку. Какая удивительная сокровищница, какой богатый кладезь накопленной человеческой мудрости.

Быть может, это странное совпадение, но сбылось давнее пророчество: потащили-повлекли однажды Марфу Крюкову по большим городам, нашла ее слава. Приняли Марфу Семеновну в Союз писателей, наградили орденом, новый дом в Золотице отстроили. Старые бабоньки-соседки, что нос задирали, ныне в пояс закланялись.

Но только очнувшись от своей былинной прекрасной сказки, увидев мир шумный и огромный, уйти обратно в страну детства Марфа Крюкова уже не могла и от-

того, наверное, мучилась, жалея о прошлом неведении. Однажды обронила Марфа Семеновна:

— И зачем мне вся широта открылась? Не видала бы ничего — прожила бы в своей деревеньке, так и померла бы в спокое. О чем не знашь, о том не скучашь.

Марфа Крюкова была не только хранительницей эпоса, но и блестящим импровизатором и создателем былинного стиха. Она, простая поморка, что выросла под шум морского прибоя, что выпевала старины под стон холодного сиверки, женщина, которую нещадно били многие жизненные невзгоды, была и мудрецом. Самое примечательное, что именно в гуще народа шлифуются алмазные грани языка, которые источают благородный свет. Есть в Поморье присловие: «Век не неделя: не знаешь кого найдешь и кого потеряешь». Русский язык развивается многие века. Но, живя в гуще народной, разве он стал скуднее и тусклее? Сокровищница языка при разумном пользовании ею — бесконечна.

Любила Марфа Крюкова свою Золотицу и пела о ней. Каждое письмо ее начиналось так: «Белое морюшко мое родное, моя родная деревня шлют по привету».

Однажды в Географическое общество Ксении Петровне Гемп Марфа Семеновна послала письмо со сказочной по военным временам просьбой. Когда-то Крюкова мечтала, как в былине поется, попробовать «мяса индейского». И на юге ее угостили индюшкой. А у Ксении Петровны сказительница просила медку: «Утешение большое чай. Чай-то я имею, но так уж хотелось бы чего сладенького. Уж я попрошу вас, дорогие мои, выхлопочите мне хоть фунт медку или чайную чашечку».

Можно представить, как уважало и ценило государство сказительницу, если в голодном военном Архангельске географическое общество выхлопотало килограмм меду, и отвезла его Марфе Крюковой ее давняя почитательница Эрна Георгиевна Морозова.

...Пожалуй, здесь и конец моему рассказу о Крюковой-сказительнице. Хочется только добавить, что еще летом тридцать восьмого года, возвращаясь в Золотицу,

Марфа Семеновна увозила с собой целый чемодан книг, которые ей подарили в Москве. Прощаясь со знакомыми, она сказала:

— Недолгий век мой кончается, все мое остается моему родству. А о книгах я сделаю заветное завещаньице: пущай они достаются тому из нашей природы, кто пойдет по моему и маминому пути, кто пойдет по сказкам. Не будет таких, пусть лучше никому не достанутся.

„КЛАНЯЙСЯ АРХАНГЕЛЬСКУ"

Писал я о Марье Дмитриевне Кривополеновой и на память то и дело приходила встреча с Борисом Викторовичем Шергиным, превосходным рассказчиком, знатоком русского слова и особенным писателем по складу своего ума и повествования.

Помню, что в простенькой комнате Шергина, полной одинокого неуюта и старости, над кроватью висит старая фотография, на которой запечатлены еще совсем молодой художник Шергин и уже совсем старая сказительница Кривополенова. И показалось мне, что не случайно они очутились рядом: оба они знали то заговорное слово, которое по их желанию может заставить трепетно забиться человеческое сердце.

Увидал я Шергина и по-новому понял его сказы, ибо сама его личность неслышно влилась в не столь уж многосложное, но чистое его повествование. И захотелось без всяких мудрствований описать эту встречу. Быть может, рассказ мой пробудит желание заново встретиться с книгами «волшебника русской речи».

*

За дверью послышались шаркающие шаги. Дверь открылась. В полумраке общего длинного коридора, пахнущего котами, капустой и стиркой, — согбенная фигура. При первом рассмотрении писатель кажется совсем сухоньким, что-то по-детски растерянное и в то же время приветливое живет в его лице: словно он очень ждал вас, а тут вдруг растерялся.

— Я нынче-то со скоростью звука хожу, а ты молодой, дак со скоростью света, — говорит он, приглашая войти.

В комнате хозяин сразу наливает чай — крутой, поморский.

— Откушайте, откушайте чайку. Ой-ой какой стеснительный. Дают — бери, а бьют — беги, — смеется он и сразу становится ближе и понятнее.

Исчезает ощущение первой робости и неловкости. Уже кажется, что я в этом доме частый гость и все здесь мне хорошо знакомо.

— Согрей нутро. Мысли прозрачней будут. — Шергин подпирает сухонькой ручкой голову.

Глаза его смотрят туманно, словно накрыты голубоватой и малопрозрачной пленкой. Пальцы нервно шевелятся, живут отдельно в длинной шелковой бороде. Шергин похож на слепого бандуриста, коих немало было на украинских дорогах.

Он и манерой говора напоминает бродячих музыкантов. Когда приезжают к писателю на легковой авто и увозят в какой-нибудь современный институт с самым современным названием, он ведет себя там чуть конфузливо и немного высокомерно, а в общем очень скромно, как и сказительница Кривополенова.

Он сидит перед притихшей аудиторией: маленький, худенький, с голубыми глазами и плетет узор побаски, очаровывая изящной простотой. Что и говорить, рассказывать он мастер: речь его похожа на узор палехской шкатулки. Взглянешь на такую шкатулку — и сначала все рябит в глазах, сливается в многоцветье. Но только не спеши уходить, приглядись внимательно, и тогда увидишь всю тонкую сложность рисунка: и нервные жилки на лице Ивана Царевича, и все двуличие серого волка, и испуг в голубоватых белках царевны.

Шергин особый писатель, таких, пожалуй, нет. Особый не только по языку, чистому северному, но и по манере писания. Ведь перо Шергина редко встречается с бумагой. Прежде быль будет многажды пересказана в аудиториях, пересыпана фольклорными узорами и лирическими отступлениями, и каждый раз «так и чуточку не так» она шлифуется до рабочего состояния в его памяти, тесно сплетаясь с воспоминаниями детства, с портретами милых его сердцу людей. Оттого и

жанр поэтических вещей писателя весьма расплывчат, да он, видимо, особенно и не задумывается о теоретической стороне работы. По крайней мере он так и сказал:

— Меня часто спрашивают старые фольклористы... Уж столь они цепкие. До всего им докопаться нужно: откуда это, да откуда то. А я разве могу упомнить? Из жизни все взято, из жизни. А то опять придут и начнут выспрашивать, что́ у меня — журналистика, беллетристика или сказки. А мне это разделение не нужно. У меня люди живые все. Может, и не видел я их, да вот отец знавал или дед. Живые у меня люди.

Свет из окна падает на лицо Бориса Викторовича, резко оттеняет глаза, они оживают.

— Помню бабку одну, жила в Соломбале. Приду к ней бывало и спрошу: «Каково, бабушка, живешь?» А ей тогда восемьдесят было. Так она мне в ответ: «Дак сейчас, голубчик, ничего поживаю. Вот не знаю, правда, каково в старости буду. Доживу — поеду и опять отпехнусь». Нынче и ко мне все пристают, выспрашивают, каково, мол, жизнь идет. А что мне не жить-то. Хочу лежу, хочу пишу.

Шергин поднимается, шаркает ногами по холостяцкой комнате, в которой, кроме простых стульев и стола грубой работы, да пыльных рукописей, к которым хочется прикоснуться, пожалуй, ничего и нет.

— Вот думают люди, что я побаски пишу, что жизнь мне наша чужда. Нет, я дышу ею. Мне ведь так хочется, чтобы наши леса стали еще больше, чтобы поля еще лучше были ухожены, чтобы лица человеческие еще ярче сияли... Порой призадумаюсь, правда: а то ли я делаю и кому мое писание нужно.

Часто просыпается среди ночи старый писатель, который покинул Архангельск восемнадцатилетним под прощальные слова матери: «Вот улетаешь ты на крыльях лебединых и край родной покидаешь». Много лет прошло с той поры, и людей тех нет, остались лишь воспоминания, что год от году разгораются все ярче. Лежит Шергин, всматривается в тугую темь, и думы одна за другой тревожат его. Будто совсем рядом и детство, и отрочество. Стоит лишь протянуть руку, и вот он — Конон Тектон, великий русский мужичина. А вот и она — Марья Дмитриевна Кривополенова. Господи, уже семьдесят бабушке, а фигуркой — все как девочка. Ка-

кая дикция, какой голос! Кривополенова — жемчужина, а Озаровская — золотая оправа. А случай-то какой превосходный! Нельзя забыть, записать надо, обязательно записать...

Было это в двадцать первом году. Жил он тогда у артистки Озаровской на Арбате. Там-то и Кривополенова остановилась. А захотел повидать ее нарком Луначарский. Да что-то задержался. Приехал позже. Озаровская входит в комнату.

— Бабушка, Анатолий Васильевич приехал.

— А скажи ему, голубушка, что Марье Дмитриевне некогда.

И выходит через час.

— Я тебя, милый, целый день ждала, а ты меня только часик. Ну, а за такое терпение я тебе рукавички подарю. Вот в этих рукавичках ты будешь снег огребать, дрова колоть. Года три они тебе и послужат.

Вот ведь бабушка! Нет, обязательно надо написать. Ворочается старый писатель. Спать вроде и хватит. Всматривается в оконный прямоугольник: «Слава-те богу, раньше-то день подвигался на воробьиный шажок, потом на куриный скачок, а сейчас уж гусиным махом. Скорей бы, что ли, лето».

Так ночами, утрами роятся в голове Шергина образы. Вечером он взбирается на второй этаж, где живет машинистка, и диктует.

...Когда мы прощались, Шергину припомнилась песенка: видимо, выплыла из юности. Писатель оживленно задвигался:

— Помню, как раньше к Архангельску подъезжаю, обязательно запою: «Скоро-скоро нет настанет тот денечек ангельский? Скоро-скоро нет появится городок Архангельский?» Бывало поезд из Москвы до Архангельска шел тридцать шесть часов. И вот сначала грубоватое владимирское оканье слушаешь, потом ярославское — оно помягче, потом круглое вологодское и, наконец, степенное архангельское. И говоры эти как сложный инструмент. Каждая струна на свой лад.

И уже у самых дверей вздыхает:

— Ну и слава богу, опять с земляком свиделся. Не поверишь, но я Архангельск представляю, как золотую заставку моей жизни. Только вот никого из родных там не осталось. Но знаешь, есть поверие, что когда чело-

век умирает, то душа его первые десять дней летает куда хочет. Вот тогда я уж обязательно слетаю в Архангельск. Ну да и ты кланяйся ему от меня, кланяйся.

„БЕЗ ВАС НЕ МЫСЛЮ СЕВЕРА"

Писахова знаю давно: наверное, с тех пор, как осознал себя. Помнится, особенно поразила плывущая по морю баня, душистые рябиновые веники и эдакий русоволосый и русобородый хитрый мужик, что банной шайкой черпает из моря рыбу.

Я взбирался на русскую печь, в ароматные, пахнущие хлебом и теплом сумерки, закрывал глаза, и казалось: вот-вот качнется печь и пойдет к морю. Тут почему-то и откуда-то выплывала избушка на курьих ножках, Баба-Яга. Все сказки мешались, и приходило ласковое смутное чувство, которое словами даже и не определить.

И еще помню, как читала мне сестра сказку о мороженых песнях. Слушал — и видел, как стоят женщины друг против друга и ругаются. Фартуки подоткнуты, руки в бока, глаза в злом прищуре, языки ниже подбородка, и в ясном морозном воздухе сыплются колечками бранные слова, как сосновые стружки, и с ехидным шуршанием оседают в большие кучи.

Иногда я разглядывал портрет Писахова. Этот бородатый дед походил и на сказочного волшебника, и на моржа: толстые крученые «черноморовы» усы, маленькие добрые глазки. Все ожидал, что прищурит он один глаз, сдвинет набок касторовую шляпу и скажет: «А хотите, я расскажу вам одну забавную историю?..»

И еще мне казалось, что Писахов жил давно, лет сто назад. А ведь умер он, когда мне было уже двадцать лет.

1

А теперь представьте себе, что вы на Поморской, 27, у низенького деревянного домика с железными ставнями. Вы колотитесь в угловое окно, ибо в дверь беспо-

лезно стучаться: хозяин не услышит. Наконец выходит коренастый дед в каком-то странном сюртуке, похожем на военный мундир, и, постукивая деревянной палкой, подозрительно вглядывается в ваше лицо: кого это принесла нелегкая. Так же недоброжелательно покажет вам спину. Вы проходите темным коридорчиком. В разделенной надвое аркой комнате, довольно сумрачной, бродят голубые и розовые тени. Под потолком на тонкой нити летает игрушечный белый голубь. Такой же белой бумагой оклеены, словно укутаны, окна.

Хозяин садится в кресло и утопает в нем, склоняет к груди голову, и тогда лохматые брови, похожие на щитки от солнца, копьями уткнутся вам в грудь: «Ну-с, молодой человек, что вам угодно?»

Если покажетесь милым его сердцу, он встанет и поведет к своим картинам, развешанным на стенах. И вы будете всматриваться его глазами и в эту одинокую сосну, которая клонится, но не ломается уже полвека, и в камнеломки — странные цветы, словно языки пламени на сизых валунах, и в сиротливые избушки на берегу моря. А кругом вас будут только море и льды.

Мимоходом Степан Григорьевич погладит щетинистую головку кактуса. Кактусы стоят и на столе, и на подоконниках — странное увлечение писателя, который и своим поведением, и привычками словно хочет убедить вас, что Писахов тяжелый человек, что Писахов сам словно кактус. И вообще, зачем вы к нему приплелись? Но тут же, погладив кактус, он неожиданно глянет из-под кустиков бровей, и буравчики глаз просквозят вас. И если чем-то понравитесь, может рассказать побаску.

А рассказывает он изумительно. Например, любит побаску о банях. Начинает обычно с того, что «вот когда вас и на свете не было и я еще малолетком был, стояла неподалеку баня,— и, скажу вам, какая баня! — и водились в ней дородные жабы».

В этом месте Писахов стремится изобразить жабу: весь сгибается, плечи нависают над головой, глаза расширяются. И начинает рассказывать, какие удивительные были в бане полки и скамейки, какой скользкий пол, какой сочный ароматный жар и какие веники. А закончит тем, что вот вы намылись и выходите истомлен-

ные, пропаренные и прожаренные, и изнеженные, как английская королева из ванны, и в это время по вашим ногам прыгают огромные скользкие жабы... Приятно!

И лицо Степана Григорьевича расцветает. А потом он накидывает новое драповое пальто с каракулевым воротником, которым так гордится, и, опираясь на тросточку, ведет по набережной вдоль Кузнечихи, по мосту. Постукивая палкой по точеным тумбам, бормочет: «Чудеса в решете... Да какие там пальмы, к черту их. Мне тут путевку давали в Крым. Я уж распланировал, куда съезжу да что посмотрю. И чемодан упаковал. Да только потом плюнул и отказался. Куда же я отсюда?..»

И если вы поймете его старческое дребезжание, доверительно расскажет, как болел: «Меня всячески перевертывало, но оставило на сем свете. Ноги болели. Едва передвигался по комнате. В глазах стало двоиться. Доктора уложили в кровать. Пугнули параличом. Казалось, что до края дошел. Доктора ласково и заботливо оттолкнули от края. Настигло совершеннолетие двадцать пятого октября пятьдесят девятого года. Стукнуло восемьдесят. Благополучно прошло. Надо подготовиться к девяностолетию...»

Круглые слова, словно колечки, нанизываются друг на друга, путаются в «черноморовых» усах, в бровях, в бороде. Крошечные голубые слезинки качаются в уголках глаз. Потом он вдруг тяжко вздохнет, присядет на голубую скамейку и зорко уставится на Двину.

А дома ждет-встречает сестра Серафима Григорьевна. Скомандует ему, словно первоклашке-приготовишке: «Где ты так долго на холоде был? Больной ведь, обуй тёплые валенки».

И весь вид Писахова в этот момент выражает: «Ну что поделаешь, с бабой много не наговоришь».

2

Но закройте створки памяти. Бесполезно стучаться в угловое окно дома двадцать семь на Поморской. Нет там хозяина.

А может, есть? Стоит только перелистать страницы его сказок, и сквозь время четко прорисуется его облик, неожиданный и яркий, сварливо-неуживчивый и добродушно-затейливый, с голубыми искрами добра в

кладовых души. Но откуда же пришло к Писахову это видение мира, эта безудержная фантазия, этот фейерверк слов и красок? Фантазия, которой будет поражаться сам писатель: «Сказки — дело шутное. Другая сторона есть и радует, а порой пугает. Фантазия. Легко унощусь в даль немыслимую, в даль минувшую. Порой страшно, ей-богу».

В детстве Писахов мечтал стать художником. В его воображении жили голубые страны, оранжевые пески, красавицы с агатовыми глазами, бедуины и заклинатели змей... Любил следить он за рукой отца, чеканившего на серебре узор, любил думать и рисовать картины одну прелестнее другой, дразнящие воображение.

...Вот Степушка бежит на улицу и по нагретым весенним половицам туда — к Кузнечихе. Река вздулась, лопается уже, как трескается земля от жажды. Ледоход.

Без задержки взбегает на лед. Сзади свистки полицейского. Коренастый гимназистик показывает ему язык и шепчет: «Вот до того берега добегу — значит, буду жить, добегу — значит, выживу».

И добежал. И только тогда испугался опасности, навстречу которой так опрометчиво бросился несколько минут назад.

Теперь — вверх по берегу, в гости к бабушке Хионии Васильевне. А та стоит на коленях, бьет поклоны. Староверка. Изумленные выцветшие глаза: «Ты откуда, Степанушко? Ведь ледоход... Однако мне не блазнит, а?» Со словами «осподи, осподи» ведет его на кухню, кормит печеной треской и опять бухается в своей горенке на колени, чтобы замолить грехи Степанушки, который так дерзко испытывает терпение господне. И так молится старушка безотрывно три дня и три ночи.

Не думала, не предполагала тогда Хиония Васильевна, что ее внук всю жизнь будет испытывать свою судьбу — всегда насмешливый, хмурый и неуживчивый.

Где только ни побывал Писахов, чего только ни повидал еще в молодости... Египет, Италия, Франция. Исколесил их вдоль и поперек, валялся на палубах вместе с нищими, ел в захудалых тавернах, но зато смотрел на пирамиды Хеопса, восторгался итальянской скульптурой, плакал в парижских музеях.

Из Одессы в Египет Писахов ехал в третьем классе.

внизу, у самого днища, по соседству с волной, где густились такие запахи, что хотелось поскорее выбраться на палубу. Как назло дул сильный ветер, смешанный со снегом. Кутаясь в тощее пальтишко, Писахов тщетно пытался согреться. Вдруг видит: стоит болгарин в черной бурке. И как могла прийти такая мысль? Молодой художник с независимым видом подошел к болгарину, откинул в стороны крылья его бурки, прижался спиной к груди незнакомца. Стало тепло.

И тогда, и много позднее будет одних изумлять, а других и коробить эта его милая бесцеремонность, с которой он завязывал знакомства. И мало кто догадывался, как робел Писахов в душе в такие минуты.

В Александрии его обокрали: вытащили все деньги, осталось пятнадцать копеек. Он стоял в порту, с тоской взирая на суматоху, на корабли. Увидел вывеску: «Харчевня» — намалевано русскими буквами. По засаленным ступенькам спустился вниз. За стойкой стояла большая смуглая женщина. Она сунула ему потрепанное, наверное, вечное меню. Щи — три копейки, второе — семь копеек — подойдет. Но вдруг подумалось, что вот сегодня он уже позавтракал, а каково будет завтра. Решил приберечь деньги. Но все равно это не выход: до прибытия парохода три дня. Что делать? Огляделся. Несколько колченогих столиков, на окнах красные занавески, на всем застарелая грязь.

И опять неожиданное знакомство... Одессит. Разговорились. Три дня кормил Александр — так звали нового знакомого — молодого художника. Деньги ему Писахов выслал из Рима.

Писахов был оригинальный путешественник. Своего рода «Тартарен из Тараскона», только не имевший ни богатых сундуков, ни великолепных мулов и ружей. Единственное, что он таскал с собой повсюду — это ящик с красками и холстами.

Вот как вспоминает о его путешествии писательница Покровская: «Я познакомилась с ним на Ледовитом океане, когда он из Каира плыл на Новую Землю. При этом он путешествовал не как турист. Он нанимался писцом в монастырь, или сидел без денег в экзотических местах, или валялся на палубе с бродягами. Он жил непосредственной жизнью, какой должен жить человек. У него огромная культура сочетается с непосред-

ственностью младенца. И он сохранил это свойство до старости».

Эти слова будут сказаны много позднее, о шестидесятилетнем. А в начале века, по воле обстоятельств уехав из Петербурга, Писахов вдруг очутился на Новой Земле в становище Малые Кармакулы.

...Судно простояло недолго. Выпили вместе с командой «отвальное». Пароход ушел. Наутро опохмелились кто как мог: одни крепким чаем, другие баней, третьи — квасом. Крепкие мужчины ушли на промысел, в становище остались лишь старики, старухи и малые дети. Писахов разобрал багаж, выстирал половики, грязной кучей лежавшие в сенях, вымыл пол, поставил самовар и пошел полоскать белье.

Был уже конец августа. Море в затишье начало покрываться пленкой льда. Около берега припай. Осторожно сполз с крутого берега, вгляделся в студеную прозрачность. Словно живые, шевелятся водоросли, цветные камешки катаются по дну. А кругом синее-синее небо, совершенно не такое, как на юге. И тишина. Вернее, она была и ее не было. Шумно дышало море, стонали чайки, гагары. Огромное птичье население готовилось покинуть острова.

И над всем этим миром — огромное незатухающее солнце: «Словно медный таз, который бабы вычистили на совесть», — подумал Писахов. И вдруг на душу сошло спокойствие и благоговение перед природой. Не рассуждая, не успев удивиться собственной смелости, быстро скинул с себя одежду и прыгнул в воду. Тысячи ледяных искр вонзились в тело, словно окунулся в битое стекло, сжало горло. Но разогнал руками льдинки, зажмурился и ухнул с головой в воду. Потом выскочил на берег и долго бегал, вскидывая ногами. Накинул на голое тело пальто и бросился к избушке.

Уже в тепле, напившись чаю, почувствовал, как тело словно помолодело, стало невесомым и в то же время сильным. Тут пришел сосед, старик-ненец. Видимо, после выпивки болела голова. Попросил опохмелиться. За бутылку водки предлагал песца или полбочки гольцов. Но водки не было, старик напился квасу и остался очень доволен. Потом разговорились. Писахов попросил старика проводить его на птичий базар.

— Что дашь? — спросил ненец.

У Писахова было пять серебряных рублей. Предложил три. Взял старик рубли в рот: не сладко. Положил на колено: не тепло. Сел на рубли: не мягко.

— На что мне они?.. На базар я тебя и так сведу.

Писахов удивился такой непоследовательности.

— За что?

— За то, что ты не винопродавец.

...Писахов купался в студеном море два с половиной месяца. Это было в девятьсот пятом. А когда вернулся в Петербург, в груди что-то закололо. Пошел к доктору. Оказалось, здоров. Рассказал врачу, как со льдины купался. Врач снова постукал, послушал: «Родителей благодарите за такое здоровье. Сами купайтесь, да только никому не советуйте».

Интересно, что в девятьсот пятнадцатом году в журнале «Аргус» появилась фотография: бородатый Писахов купается в море, цепляясь руками за льдину. А фон — молчаливые скалы Новой Земли.

Здесь же на острове художник написал свои лучшие картины, за которые позже получил Большую серебряную медаль. Там же он набирается впечатлений, буквально впитывает в себя образы преданий, которые потом причудливо сплелись между собой, стали сказками и принесли художнику известность писателя.

3

Наглядевшись на субтропики, наездившись по Заполярью, он не забывает и былинные берега Мезени и Пинеги. Вот он в селе Веркола на Пинеге: «Заканчивал я этюд старого дома. Подошла старуха, поклонилась, пригляделась к моей работе: «Скажи на милость, чего ради сымашь дом, старе которого нету на деревне... Изгиляешься?» — «Нет, бабушка, не изгиляюсь, не смеюсь я над хозяином, а хочу показать, какие дома в старину были».— «Верно твое слово. Новы-ти дома, вишь, курносы...»

Деревенский диалект Степан Писахов записывает. Это живая ткань его будущих сказок. Любуется деревенскими хороводами. Словно павы идут девушки в алых штофниках и парчовых коротенках с золотыми повязками на голове. На лицах умиленная благодать,

глаза склонены долу. Шелковые сарафаны — словно цветы на росном лугу. И от этого великолепия красок, мягкого пения, от воздуха, где звуки струятся, сплетаются и переливаются, словно богатые шелка при свете свеч, становится удивительно хорошо, душа мягчает и наполняется гордостью за Русь.

В путешествиях тетради Писахова наполнялись записями, но о сказках он долго не помышлял. Только в двадцать четвертом крупным размашистым почерком написал первую: «Не любо — не слушай». Придумал заглавие, словно отгородился от всех недовольных: не нравится, так не читай. А сказка понравилась, была напечатана.

Однажды капитан Воронин стоял со своим судном в Уйме. Он знавал выдумщика невероятных историй Семена Михайловича Кривоногова, не раз слушал его чудесные истории и хохотал от души. Никто в Уйме не называл деревенского балагура настоящим именем. Все звали его Сеней Малиной.

Воронин при случае рассказал Писахову об уемском юмористе. И в двадцать восьмом году Писахов и Кривоногов встретились в первый и в последний раз. Но выдумщик-помор Сеня Малина, неунывающая русская душа, остался в книжках Писахова.

Писаховские сказки очаровали всех. Писатель Владимир Лидин, который был в крепкой дружбе со сказочником, писал: «Дорогой Степан Григорьевич! Читаю ваши прелестные сказки и чувствую себя помолодевшим. Как хорошо вы чувствуете язык Севера, как легко лепится у вас строка к строке. Вы самый молодой из сказочников, потому что вы не выдумываете свои сказки. А они у вас сами получаются».

Лазарь Лагин так рассказывал о заседании президиума Союза писателей, на котором постановили принять Писахова в члены Союза: «По кандидатуре Степана Григорьевича Писахова выступили Анна Караваева и Александр Фадеев. В тот зимний вечер 27 декабря тридцать девятого года мое внимание привлекли взрывы хохота, то и дело доносившиеся из-за закрытой двери зала заседаний. Я зашел туда и увидел Фадеева, который восторженно читал вслух чью-то рукопись. Его чтение время от времени прерывалось дружным смехом остальных участников этого необыч-

ного заседания. Это были уморительные истории о том, как некий Сеня Малина... Не думайте, однако, что Фадееву удалось спокойно дочитать сказки до конца. Анна Караваева все время порывалась перебить у него инициативу. Они читали вперемежку, с видимой неохотой уступая друг другу очередь».

Как писал эти сказки Писахов? Он ходил по городу, стоял над Двиной, знакомился с капитанами, моряками, грузчиками, заходил в редакции газет, останавливал на улицах знакомых и со всеми разговаривал.

Говорил он вдохновенно, лукаво щурясь, усы смешно подпрыгивали, а слова округлой быстрой скороговоркой выкатывались изо рта. И было непонятно, говорит ли Степан Григорьевич правду или сочиняет, фантазирует. Собеседник отходил от Писахова ошеломленный невиданной историей. А сказочник уже останавливал кого-то другого и опять начинал: «А вы слыхали, как?..» И рассказывал ту же историю, но уже не так, как в первый раз, а что-то дополняя, шлифуя отдельные места, подробности, язык.

Потом приходил домой и начинал писать своим корявым крупным почерком на плохой тонкой бумаге. Каждая сказка в три странички. И ни слова не зачеркнуто. Сказочник предпочитал не править, а переписывать заново еще и еще раз. Он и писал, как рассказывал: «Уж такая благочестивая, уж такой ли правильной жизни была купчиха, что одно умиление...»

4

В апреле сорокового года сказки Писахова обсуждали в Союзе писателей в Москве на творческом семинаре. Вот выдержки из нескольких выступлений.

ЛУКИН: «Я хочу приветствовать молодое озорство этих сказок. Надо сказать, что сейчас мне приходится собирать сказки и готовить сборник. И должен сказать прямо, что я мешаю работать другим, потому что я то и дело хочу прочесть то, что мне особенно нравится».

АННА КАРАВАЕВА: «Писаховские сказки — простор для мультипликаторов. Было бы очень хорошо, если бы Сеня Малина пошел в кино».

ПОКРОВСКАЯ: «Это человек своей родины, и свой северный край он впитал всеми фибрами своего суще-

ства. Когда читаешь Писахова, то невольно вспоминаешь андерсеновского соловья, который заливался в садах Богдыхана».

ЧЕРНЯВСКИЙ: «Почему-то образ Малины напоминал мне не Андерсена, а Пасечника Гоголя. Но Гоголь дал образ Украины, а Писахов другими средствами и другой методикой дает образы Севера».

А сам Писахов в это время сидел в уголочке, теребил усы и смущенно улыбался, когда уж слишком начинали его захваливать. «Мне казалось, что по мне справляют гражданскую панихиду, — писал он друзьям. — Ведь обычно хвалят после смерти. А тут я такой и эдакий. Но в общем-то было очень приятно».

Однако издавали сборники сказок Писахова не очень охотно. Почему-то в издательствах считали, что писаховские сказки можно рассказывать со сцены, но читать их неинтересно. Писаховская фантазия и язык ошеломляли. До этого в литературе не было ничего подобного.

Степан Григорьевич очень переживал писательские неурядицы, писал своим московским друзьям Владимиру Лидину и Лазарю Лагину, благодарил их за хлопоты. Радовался и печалился очень искренне, не скрывая чувств. Но обычно, начатые печально, письма кончались какой-нибудь восторженной концовкой, вроде: «Наши-то молодцы... Слыхали? Спутник запустили. Сказку напишу. Пусть Сеня Малина на луну слетает».

Но в Москву Писахов уже не ездит. Только изредка туда прибывают посылки с козулями. Сам Степан Григорьевич не появляется больше в дверях знакомых квартир, словно святочный Дед-Мороз, не улыбается, не раскладывает пасьянсы, не ехидничает за картами. У Писахова заболели ноги, он не может ходить. А сказки вдруг стали в моде, их просят у писателя. Но сказочник уже не может сочинять, чувствует, что повторяется, и от того еще больше печалится. Рука становится неверной, слова прерываются на половине, он не может закончить предложения и ставит многоточия. Но фантастический мир полонил его полностью, стала исчезать граница между миром реальным и выдуманным, он уже и говорить начинает сказками.

Осыпались звездами последние летние ночи, потом заструились по любимой аллее Писахова осенние ли-

стья, и упали на Архангельск дожди. Только сказочнику не верится, что истекают «последние золотые денечки». С ногами стало лучше, и Степан Григорьевич снова гуляет по Архангельску. А друзьям пишет: «Нужно приготовиться к следующему десятилетию. Ведь остался только сорок один год до двухтысячного. Хоть бы одним глазком посмотреть, что там станет».

Двадцать пятого октября пятьдесят девятого года — юбилей. Восемьдесят лет. Телеграммы со всего Союза: «Поздравляем милого волшебника-сказочника».

«Дорогой Степан Григорьевич, — пишет Леонид Леонов. — От всего сердца поздравляю Вас с восьмидесятилетием, к которому, как вам известно, и сам я подвигаюсь с довольно значительной скоростью.

Но, конечно, мы-то с вами знаем, что не в этом дело, — вон звезды на небе еще старше нас, но, судя по количеству излучаемого ими тепла, они все еще молоды.

Читал присланную вами книжку сказок и поражался количеству юмора, оптимизма и вообще всего хорошего, заразительного для читателей настроения.

Как видите, и на меня, известного своей мрачной писательской философией, творчество Ваше производит благотворное влияние. Без вас не мыслю Севера.

Ура, ура! Салют, салют! Привет, привет! Обнимаю, обнимаю!»

5

Седьмое декабря пятьдесят девятого года. Поздний вечер. Перед сном Степан Григорьевич решил перелистать последнюю книгу Лидина, которую тот прислал еще весной. И вдруг на глаза попалось письмо полугодовой давности. А письма, как и книги, требуют повторного прочтения, и всегда при этом открывают что-то новое. Ведь многое зависит от настроения.

Подошла сестра Серафима, накинула ему на плечи свой платок.

— Чего сумерничать? Ложился бы спать.

Писахов пошевелил вислыми усами.

— Забыл доложить, что письмо от Лидина полу-

чил.— Дату не сказал, чтобы не обидеть сестру. — Выдумщик он. Послушай, чего пишет. Великий утешитель этот Лидин.

Писахов тяжело опустился в большое разукрашенное кресло. Притворно растянул первые слова: «Вы так далеко, любезный моему сердцу...» Потом ехидный тон бросил, и что-то грустное волной омыло лицо, и глаза на миг накрылись занавесом бровей. «...Давайте сочиним совместно сказку. Однажды на карниз вашего дома садится поседевший грач, стучит клювом в окно и сообщает, что Лидин просил передать Писахову в Архангельск дружеский привет. Но вы вглядываетесь в грача и находите сходство с самим Лидиным и впускаете грача в комнату. Тут происходит чудесное превращение. Грач действительно становится Лидиным, а рядом с ним стоит второй грач Зуев, тот самый, знакомый вам, и мы смеемся и обнимаем вас.

А сказка эта основана на том, что, собравшись с Зуевым в Вологду, мы вдруг возьмем и приедем в Архангельск к старому сказочнику. Вот вам и вся сказка, в основе которой лежит быль».

Ночью во сне Писахов увидел грача. Тот сидел у сказочника на плече и пытался выхватить из руки чайную ложку. Потом вдруг появилась улица, и грач уже бежал по снегу. Писахов хотел догнать его и не мог. Валенки, одетые на босу ногу, застряли. Степан Григорьевич выпал из них в сугроб и почему-то радостно засмеялся.

Писахов проснулся от собственного смеха. Полежал с открытыми глазами. Спал не более трех часов, но чувствовал себя бодро. За ночь в комнате выдуло. Край ватманской бумаги на окне отогнулся, в черную ленту стекла впечатался осколок света от уличного фонаря. Степан Григорьевич встал, сунул в обрезанные катанцы ноги, побрел на кухню. На улице, видимо, был настоящий мороз, даже вода в ведре застыла. Ковшик жалобно звякнул, ломая хрусталь льда. Рот обожгло свежестью, по спине пробежали мурашки.

Вернулся на кровать. Возбуждение неожиданно пропало, от теплого сна осталось лишь грустное воспоминание. Писахов сидел, перебирая босыми ногами обрезанные катанцы и потерянно смотрел на осколок света. «Осподи, как тошно»,— произнес он вслух. Плотная ти-

шина была тягостной, а ложиться уже в охладевшую постель было страшно. «Словно в гроб»,— так явственно представил себе эту процедуру. Мысли были отрывочны и бессвязны и пропадали, не задерживаясь в памяти. «Вот сон видел, к чему бы это... грачи, а на улице, наверное, мороз и одиноко, как в раю. Вот паренька вчера видел, стихи читал, потом что-то насчет именин говорил. А... с днем ангела».

Достал открытку, дрожащей рукой нацарапал: «Напиши такой стих, чтобы маленькая душа, прочитав его, стала большой». И подписал: «Молодому Николаю от старика Писахова».

Открытка была предлогом, оправдывающим действие: от сна осталась одна неловкость, нужно было двигаться. Накинул пальто на сутулые плечи, обмотал шею шарфом, сунул в карман открытку. Постукивая палочкой о половицы, аккуратно вынес себя на крыльцо и задохнулся морозом. Черная равнина неба была сегодня прозрачна и легка, видно, только что отгорело полярное сияние, так как голубоватые тени с легким электрическим шорохом еще вспыхивали кое-где. Было удивительно тихо и прозрачно. Редкие фонари чертили беспомощным светом улицы и, не в силах разрезать вязкую темноту, задыхались в ней. И оттого выделялись на фоне улиц белыми пронзительными точками. Стерлись очертания погруженных в сон домов. Некоторые из них, кирпичные, шуршали от мороза, деревянные — кряхтели. Создавалось ощущение полета.

Тело стало легким. Писахов засеменил подшитыми валенками, шапка уехала вбок, шарф размотался. Услыхал, что кто-то тяжко дышит за спиной. Оглянулся. Собачонка, верный спутник по Архангельску, жалобно смотрела черными бусинами.

«Добрая собачонка», — подумал сказочник. Ведь предстояло длительное путешествие в воображаемый мир, и надо было иметь надежного спутника. Пошарил в карманах и достал кусок колбасы — дневной собачий паек. Но сегодня она выкараулила «властелина» и оттого съест две порции.

«Вишь, успела ведь... От любви или голода? Что же ты про меня, дурака, думаешь? Вот, мол, с ума сошел старый хрыч, сам не спит и людям покоя не дает».

Пока кормил собаку, пальто впитало холод, стало

зябко и неуютно. Писахов забыл, зачем вышел на улицу. Стал вспоминать.

— Знаешь, что скажу тебе, подруга,— обратился он к собачонке.— А попробую я на сегодня стать Дедом-Морозом. Тяжело, наверное, быть этим дедом. Нужно все время быть добрым, и опять же мешок с подарками тяжелый... Вот скажи ты мне, собачья душа, зачем люди Деда придумали? А чтобы себя тешить. И сами будто лучше становятся, и защита какая-то есть, и вера.

Но собака не понимала стариковских речей. Она подняла вверх острую морду и тоскливо завыла. Собаке было холодно, одиноко, и она хотела есть.

Почувствовав, что окончательно замерз, сказочник двинулся дальше. Благодать какая: идти никто не мешает. Днем-то какая ходьба. Что ни метр, то и душа. Любопытничают по зряшному делу.

Вот и Важский переулок. Деревянный дом. Отыскал подъезд. Опахнуло сырой штукатуркой и мышами. Тускло горит двадцатипятка. Да, не очень-то приятно новогоднему Деду-Морозу заходить в такой подъезд. Опустил открытку в почтовый ящик.

Вышел на крыльцо. Из соседней двери высунулась головастая тетка, толстая от шалей и поддевок. Подозрительно уставилась на старика. Писахов хмыкнул, разгладил усы, пристукнул палкой.

— С Новым годом, бабуся.

Услышав такое, бабка сразу забыла все ругательные слова, а красивых не нашлось. Отвыкла.

— Господь с тобой... Небось не спится?

— Не... — протянул Писахов.— Я Дед-Мороз, а это моя Снегурочка.

Указал палкой на собаку.

Старуха хихикнула: «Бродят тут ненормальные». Но смех не достиг сказочника. Писахов патриаршим шагом уже покидал двор.

* * *

А через пять месяцев, третьего мая шестидесятого года, Писахова не стало...

Вот, пожалуй, и все, что мне хотелось рассказать о писателе. О сказках говорить не стану, их нужно читать. Только хочется добавить, что хоть и нет Писахова, но звенят струны его сказок, особые волшебные струны.

НЕСКОЛЬКО СТРАНИЧЕК ИЗ ЖИЗНИ ПРЕЗИДЕНТА

«...В девять утра, идя под парусами при свежем ветре, подошли к заливу Хромченко. У полуострова Пять пальцев «Дмитрий Солунский» только чудом не сел на подводные камни: глубина под судном была лишь всего сажень с четвертью. Кстати будет сказать, что этот полуостров, как выяснилось, совершенно неточно обозначен на существующей карте, и очень верно был снят Ильей Вылко. В продолжение трех лет занимался этот замечательный самоед съемкой малоизвестных восточных берегов Новой Земли. Ежегодно продвигался он на собаках все дальше и дальше к северу, терпел лишения и голодал. Во время страшных зимних бурь целыми днями ему приходилось лежать под скалою, крепко прижавшись к камню, не смея встать, не смея повернуться, чтобы буря не оторвала его от земли и не унесла в море. В такие страшные дни гибли одна за другой его собаки. А самоед без собаки в ледяной пустыне — то же, что араб без верблюда в Сахаре. Бесконечное число раз рисковал Вылко своей жизнью для того, чтобы узнать, какие заливы, горы и ледники скрыты в таинственной манящей дали крайнего Севера. Привязав к саням компас, согревая за пазухой закоченевшие руки, Вылко чертил карты во время сильных новоземельских морозов, при которых трескаются большие камни, а ртуть становится твердой, как сталь».

(Из дневника Владимира Русанова).

* * *

...Еще в 1910 году его называли «экзотическим цветком Арктики». Наверное, ни один из ненцев в нашем столетии не заслужил от людей столько добрых слов. Еще при жизни имя его было окружено легендами. Так кто же он такой, Илья Вылко?

Пожалуй, я начну с того, что в тысяча девятьсот седьмом году никому не известный «самоед» Тыко Вылко, непричесанный, в дырявой старой малице, сквозь которую просвечивало голое тело, взял с собой все свои рисунки, сел на пароход и впервые покинул холодную родину, чтобы встретиться с Большой Землей.

И случилось так, что через сорок девять лет уже старый и знаменитый Вылко Илья Константинович, захватив на память свой старый походный чумок, окончательно расстался с туманными островами и поселился на тихой окраине Вологодской улицы в Архангельске. Жизнь растаяла, как парус в океане... И море будто бы совсем рядом — не больше двух полетов стрелы, но не достать его. И чайки над Двиной вроде те же, что и на Новой Земле — только кургузы и неповоротливы они. Ныне все желанно и недосягаемо, как и вереница дальних лет, что таинственно и романтично расцветает в воспоминаниях. Стоит прикрыть глаза, как нарастает откуда-то глухой тягучий прибой и ласковый шорох пены, и электрическое свечение сияния, и пронзительный, какой-то сухой и резкий плеск птичьих крыл, и легкое шуршание осенней поземки, когда из прозрачной еще выси все сыплет и сыплет на черные камни снежная крупа, предвестник зимы.

Природа для Вылко была одухотворена, и даже в преклонные годы он оставался язычником, боготворящим живое тепло солнца и ароматное мясо гольца, и рык медведя, и тоскливый плач собаки. Для него природа — это богатая человечья душа, которую понять не столь уж и трудно, только нужно быть с нею породственнее. Когда Вылко рассказывал, например, о белом медведе, то и сам мгновенно перевоплощался в медведя: он как бы моментально ширился, плечи гнулись вниз, словно от тяжести, и руки болтались вдоль пояса, а глаза щурились и даже совсем убегали под припухшие веки. В тех местах, где это требовалось по его пониманию, Вылко широко открывал рот и рычал. Если же Илья вел речь о маленькой нерпе, то в глазах его появлялись крошечные слезинки. А если рассказывал о пуночках, маленьких полярных птичках, то и сам, уже старый и тучный, начинал вдруг прыгать легко, как птичка.

Вылко был прекрасный рассказчик. Нет, это был артист, известный не только в Большеземельской тундре, но и далее, за Уралом, где он, кстати сказать, не бывал.

Особенно ревниво и требовательно он относился к исполнению былин. Сказания о героях и богатырях не каждому по силам, у «сюдбабца» свои законы исполне-

ния — по-всякому петь нельзя, «потому что иначе старики засмеют».

Пел Вылко только стоя, так как считал, что народное произведение требует этого. Долго откашливался, руки опускал по швам, искал, пробуя голос, верный тон. И лишь затем начинал: «Если пройдешь льды, идя все к северу, и перескочишь через стены ветров кружащих, то попадешь к людям, которые только любят и не знают ни вражды и ни злобы...»

Лицо у Ильи Константиновича было непроницаемо, лишь лисьи хвосты бровей шевелились в ритм сказа, и черные глаза играли и жили.

Много знал былин старый ненец: он так начитался природы, что был мудр, как природа. Покинув родину, но тоскуя о ней, Вылко пел: «У берега Карского моря, на высоком холме, стоит старая избушка. Травой поросло все вокруг, а в траве белеют оленьи кости, и рога белеют. Забытые детские санки заросли травой. Здесь жил Тыко...»

Это песня тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, песня семидесятилетия. Но чтобы разглядеть хоть некоторые странички из этой длинной жизни, нужно опять вернуться назад и заглянуть в год девятьсот одиннадцатый, когда так круто изменилась судьба Вылко.

Он сидел на оленьих шкурах, свернув калачиком ноги у маленького столика, за которым гости недавно пили чай, и трудно писал: «Его высокородие, Василий Васильевич. Дорогой мой приятель Переплетчиков! Ты учил меня, очень помню тебя. Жил с тобой, жил дружно. Желаю быть тебе здоровым, когда-нибудь еще приеду к вам в Москву.

Когда я пришел на Новую Землю, мне показалось скучно. Туман, холодно, плывут снега в горах. Отец, братья все живы. Один двоюродный брат застрелился — попал патрон на огонь и убил его. Жена, дети остались, шесть детей, и по нашим обычаям это моя семья».

Задумался Илья. Жена возилась у очага: она ползала на коленях, раздувая огонь, но плавник загорался плохо, и едкий дым нещадно ел глаза. От этого

дыма ослепла его бабка, и у матери веки всегда были обметаны краснотой.

В открытый полог были видны собаки и море. Собак еще в прошлом веке завезли из Архангельска с первыми колонистами: подобрали бродячих дворняжек, от которых в городе не было спасения. В тундре они не только выжили, но суровый закон естественного отбора выявил новое собачье племя с широкой грудью и злым сердцем. А море — оно всегда дышит прибоем, раскатисто дышит. Но нынче вода тяжела, словно ртуть, и по берегам уже поседела. Сейчас ветер дул с севера и нес с собой холод. Последний пароход покидал новоземельские берега.

И, может, от прощания с русскими друзьями, а может, ветер всему виной, но только грусть внезапно посетила Илью, и была она столь же бескрайна, как бесцветное небо над головой, и столь же монотонна, как осенний прибой. Залепил Вылко письмо хлебным мякишем, сунул в руку последнему отъезжающему. Тот ободряюще улыбался, а Илья, у которого слезы стекали по щекам, отводя в сторону лицо, сказал: «Эту зиму Вылко не пойдет слушать музыку в опере».

В Поморскую бухту торжественно вплывали льды, небо внезапно раскисло, и посыпал тяжелый мокрый снег. За этой пеленой исчез пароход, и порвалась последняя ниточка с материком. Еще порывистее подул ветер, раскидал по сторонам черные прямые волосы, и тут заметил Вылко, что один остался на скалистом берегу, и тогда огонь чума показался желанным.

Вечно голодные собаки долизывали мучную похлебку и с утробным ворчанием катали котел по замшелым камням. Вылко схватил первую попавшуюся под руку за мокрый загривок, тряхнул в воздухе: «Совсем плохо дело, жира совсем нет. Три дня не ели мясного».

Наутро Илья взял пятизарядный винчестер, пожалованный самим императором за альбом картин, и пошел ждать нерпу. Крест, который взвалили на Илью ненецкие обычаи, нужно было нести стойко: орава ребятишек постоянно хотела есть.

Так и пошли день за днем. Что ни говори, а русскому богу на ненца наплевать. А свой — Нум никогда не был милостив к роду Вылко. И для пращура Яра тундра была злее волка и теснее бедного чума: и солнце для

него не светило, и все ветры обязательно падали на его жилище, и все болезни валились на последних оленей. Пришлось Яру покинуть свой род и перейти в другой — в род Вылко. Сын его Константин добрался до Новой Земли. Тут и жену нашел из рода Ледковых, тут и Тыко родился. Здесь, на скалистом берегу, белый миссионер перекрестил маленького новоземельца, назвав его Ильей. Однако от этого разве теплее и сытнее стало в их чуме? Какие только мысли не навестят человека, когда он один и когда птица удачи ускользнула из рук, оставив на ладони лишь тепло прикосновенья.

Пошли морозы, и опустело становище, разъехались охотники в поисках песца и оленя. В Карскую сторону погнал свою упряжку молодой Вылко. Скрипели пронзительно полозья, нарты качались на валунах, как лодка на мелкой, но валкой волне, белые туманы сползали с ледников, лохматые и слепые. Пришлось ставить палатку. Соорудил Илья небольшой костерок, чаю напился, достал с нарт большую амбарную книгу и, примостив ее на коленях, стал писать: «Собак кормил немного, чтобы хватило на другие дни. Домой ехать нету мяса. Живу совершенно бесполезно. Угрюмо, печально сижу в своей палатке». Буквы ложились неровно, потом Вылко сморил сон.

На следующий день добрался он до реки Нехватовой, но тут вдруг свалилась из-за ближайших сопок такая пурга, что собаки едва были видны. Только собрался Вылко остановить их: в такой сумятице и до беды недалеко — видно, злой шаман пришел с нижней земли, как сани качнуло, собаки взвизгнули и стремительно полетели куда-то вниз. Илья еще успел соскочить с саней, но снежная глыба увлекла и его, смяла, скрутила тело. Внезапно стало душно под холодной толщей снега. Когда Илья выбрался из-под лавины, он с ужасом увидел, как прямо на него двигается хорей, который может пронзить его насквозь. Вылко рванулся в сторону — и смерть пронеслась мимо. Потом он долго отрывал в снегу сани и собак, отыскивал бинокль и винтовку. Поняв, что свалился в расщелину, откуда обратно хода нет, Илья потянул собак вниз и вышел к морю.

Только на пятый день установилась погода. Вечером Вылко увидал, как собаки, вытянув морды, нюхали ветер, который катился с горы. Значит, собаки почуяли

олений дух. Рано утром Илья пошел на охоту и вскоре отыскал оленей. Подкрадной доски с собой не было, и он пополз, используя каждый бугорок, чтобы остаться незамеченным. Но тут животные пугливо потянули мордами, и Вылко стал стрелять. Стрелял так, чтобы пули перелетали оленей и ложились в снег шумно, тем самым искусно приманивая животных. А затем стал стрелять в оленей и убил сначала одного, потом другого, потом всех.

Для Вылко наступил праздник. Мясо, много мяса... Он нарежет его на куски и подвесит на шесты, чтобы не съели песцы. А потом отвезет в становище, и в чумах будет веселый огонь и много вкусной еды. Охотник вынул из костяных ножен острый нож и, надрезав шкуру, быстро снял ее, помогая, где надо, рукой. Через мгновение раздетая туша пронзительно краснела на снегу. Тогда Илья вскрыл брюшину так ловко, что оттуда не вытекло ни капли крови. Ненцы умеют ценить кровь — этот бесценный земной дар, продолжающий жизнь и наливающий бодростью все тело. А потом он сидел возле туши, отрезал кусочки и макал в горячую кровь. Закружилась голова, и стало очень тепло и весело, и захотелось петь. И Вылко запел очень длинную песню про богатырей и добрых людей.

Ночью пришел снег и накрыл острова: и великого страдальца Баренца, нашедшего вечный приют на этой земле, и могилу Цивольки у Мелкой губы, и развалившиеся избы времен Саввы Лошкина, где погибли от цинги десятки промышленников, и зимовье Георгия Седова, и пушку Евстафия Тяпкина, очень доброго русского, из которой стреляют, встречая первый пароход. Среди этого бесконечного покоя у Незнаемого залива исчезла под снегом палатка Ильи Вылко. Упрятав тело в совик, спал безмятежно знаток Новой Земли, а на его засаленном пиджаке, среди вылезшей белесой оленьей шерсти, красовалась золотая медаль, пожалованная императором за особо важные научные открытия. Правда, недолго эта медаль будет отличать Илью Вылко от товарищей. Через пять лет, во времена «больших островных голоданий», Вылко променяет эту медаль за два килограмма сливочного масла капитану норвежского бота Брекману.

* * *

И еще дальше, в детство уносят воспоминания Илью Вылко... Ничто не отличало Илью от сверстников: восьмилетний Тыко получил от отца собаку Нохо и охотничий лук с жильной тетивой. Это не были подарки для забавы. Тыко был уже мужчиной: он мог незаметно подползти к гусю и подстрелить его, он умел ставить капкан на песца и подстеречь любопытную нерпу. Отец уводил его на промыслы, и где не мог пройти взрослый, по карнизикам угрюмых базальтовых скал ходил Илья. Он очень боялся гневного океана, а детская ступня едва нашаривала опору, и кайры и крачки шумели крыльями в лицо, намереваясь скинуть смельчака в волны. Но малыш, упорно цепляясь за выступы, собирал яйца в суму, что висела на поясе, и старался не смотреть вниз. Там стоял отец. Старший Вылко что-то сердито кричал. И хотя слов нельзя было разобрать в птичьем хаосе, Илья примерно представлял, что кричал ему отец: «Смотри, упадешь — так изобью по спине палкой, до смерти изобью». Два страха борются в маленькой душе, и страх перед отцом перебарывает. Лишь много позднее Илья Вылко вспомнит эти мгновенья: «Только став взрослым, я понял, что если бы упал, то ничего от меня не осталось бы. Тогда впервые с Пуховых островов увидел я Карское море. И было мне сладостно».

Но хоть и был Вылко старшим добытчиком в семье, но до шестнадцати лет не нашивал он иной одежды, кроме малицы, которую накидывал на голое тело. А к тому времени уже несколько медвежьих клыков висело у него на поясе — знак доблести, и редкий гусь улетал живым от его стрелы.

* * *

Когда же Илья Вылко впервые увидел природу душой, именно душой, а не глазами?.. И эти молочные сумерки, когда истончается малиновый закат, по капле истекая в слегка подсиненную, очень прозрачную воду. И эти розовые ледники, сползающие с круч, и бесшабашно и грозно ухающие айсбергами, уплывающими в океан. И дальние горы, очень мягкие и бесплотные, совсем нестрашные издалека.

Не один путешественник был ослеплен встречей с Новой Землей: «Хвалят фиорды Норвегии, да они же

бесцветны и мрачны перед этим праздником». Видимо, такой миг не миновал и Вылко. «Однажды, это было в августе, сидел я у берега Карского моря,— вспомнит Вылко позднее.— По небу тучи, облака ходят. Был закат солнца. Горы на воде отражаются. Куски льда плывут по течению. Я подумал: если бы я умел рисовать, срисовал бы эти горы. Пошел в чум, взял бумагу, карандаш и начал рисовать. Три дня работал, кое-что написал».

* * *

«...Наш Илья Вылко при более близком знакомстве оказывается далеко недюжинным самоедом. Он мне показывал сегодня свои работы. По-моему, это прямо талант. И если бы его научить, один бог знает, что бы из него вышло. Интересно, откуда он выучился рисовать? Положим, ясно видно влияние Борисова, долго жившего в Маточкином Шаре, хотя Илья говорит, что его Борисов рисовать не учил и будто бы он рисует самоучкой».

(Из дневника фотографа Быкова)

Илья три раза встречался с Борисовым. Впервые, когда тот зашел в чум и попросил хозяина, Константина Вылко, проводить его на Карскую сторону.

Вторая встреча произошла при более драматических обстоятельствах. В тысяча девятисотом году Борисов в бухте Поморской выстроил большой дом, даже завез сюда коров: думал здесь обосноваться. Летом этого же года через пролив Маточкин Шар на яхте «Мечта» он ушел в Карское море. Но тот год был трудным, яхту затерло льдами, все лето суденышко простояло неподвижно. Семеро — экипаж яхты — оказались на краю смерти. Борисов принял решение бросить яхту и на шлюпке идти к берегу. Шлюпка была небольшая, и люди едва разместились в ней. Гребли на веслах, но еще вдали от берега шлюпку внезапно повернуло и понесло в южную сторону Карского моря. К тому же в шлюпке появилась течь. Люди отрывали куски малиц и затыкали пробоину. Был октябрь, дули сильные ветры, продовольствие кончилось.

В этом году у реки Савиной стояли три ненецких чума, один из них занимала семья Константина Вылко.

Однажды в морозное утро, когда взрослые готовили собак для охоты, со стороны моря вдруг послышались крики о помощи. Всмотревшись вдаль, ненцы увидели людей, которые двигались по льду пешком. Быстро запрягли собак и бросились на помощь. Художник Борисов с товарищами были спасены.

Зиму Борисов прожил в своем доме, а с началом навигации уехал в Архангельск.

В третий и в последний раз Илья Вылко и Борисов случайно встретились на Соловецких островах, где и состоялся их первый разговор.

Начало нашего века было временем покорения Арктики. Это было время Амундсена и Нансена, Брусилова и Альбанова, Седова и Русанова. Тогда множество экспедиций началом своего пути, трамплином для прыжка в Арктику избирали Новую Землю, ворота в вечную ночь. Одна из таких экспедиций и подарила Илье Вылко карту Новой Земли, пачку карандашей, компас, градусник и бумагу. Тогда Вылко задумал начертить карту островов.

«Я начал по компасу чертить, на карте не такое совсем. Тогда я подумал, что эта карта неправильна. Я задумал поехать на Север — какие заливы есть на Карской стороне, острова, ледники, доехать до Пахтусова острова. У меня собак было шесть штук. Привязал крепко на сани бумагу и компас. Доехал до Незнаемого залива, убил одного медведя на пути. Собак накормил. День был ясный. Мне одному скучно было. Морозы пятьдесят градусов. У меня градусник лопнул от мороза...» —писал Тыко Вылко в сборнике Общества по изучению Русского Севера.

Четвертого июля 1909 года на Новую Землю прибыла архангельская экспедиция и среди членов ее — Владимир Русанов, белолицый и рыжебородый, в шляпе и коротком ватнике, подпоясанном патронташем. Сошел с парохода пока не известный никому политический ссыльный, в жилах которого текла кровь странника и землепроходца. Сошел на остров человек, который через четыре года станет известным России и миру, как бесстрашный путешественник и даровитый ученый, нашедший себе могилу во льдах Арктики, и смерть которого будет одной из трагических загадок истории Севера.

Захватив двух проводников, Илью и Санко Вылко,

и двадцать восемь упряжных собак, экспедиция высадилась в небольшой бухте, названной в честь инициатора экспедиции, архангельского губернатора, бухтой Сосновского. Губернатор съехал на землю, побывал на охоте, добыл до десятка гусей и остался очарованным северным островом. Потом в честь отъезда высокопоставленного гостя был дан прощальный ужин, на котором Русанов показал свое мастерство, приготовив жареную птицу с картофелем. Шампанское было выпито, и пароход ушел.

Уже через несколько дней Русанов решил отправиться на полуостров Адмиралтейства. Его уговаривали не рисковать: мол, лодка гнилая, рассыплется от первой волны. Но Русанов был непреклонен. Более четырехсот верст на шлюпке и пешком прошли вдоль побережья Русанов и Вылко, ежечасно рискуя жизнью.

Ночью шлюпку вел Илья. Ненец по волнам и звукам чувствовал мели и перекаты, косы и кошки. Это была его стихия. Когда шли по берегу, Вылко учил наблюдать следы. «Завтра увидим оленя»,— говорил он. И действительно на следующий день встречали оленя.

А однажды было так. Много дней по горам ходили, и харч весь вышел. Вдруг увидали трех оленей. Русанов шепчет:

— Ты меня ростом меньше, ползи, у тебя пули метко летают.

Пополз Вылко, убил оленя. Подошли к туше. Надо шкуру снять, целиком оленя до карбаса не дотянуть, а ножа нет. Вылко говорит:

— Беги к лодке за ножиком.

А до карбаса часа два ходу. Ничего не сказал Русанов — пошел. А Илья остался караулить тушу, чтобы ушкуй-медведь не стащил. Тут и вспомнил наставления отца: мол, в случае чего, нож ищи под ногами. Стал Илья снег разгребать, увидел скалу из тонких пластин. Прикладом ружья отбил острый пласт, обколотил его — вот и получился настоящий нож. Шкуру с оленя спустил, мясо на куски разделал. Тут и Русанов от карбаса идет. Увидал, что туша разделана, тихо спросил:

— Ты что, Вылко, меня к карбасу сгонял, а у самого нож был.

— Не было у меня ножа, Владимир Александрович.

Пока вы ходили, я из скалы нож сделал и олешка освежевал.

Русанов сел на снег, долго смотрел на каменный нож, потом на спину опрокинулся и давай хохотать:

— Ну и Илья... Да ты из каменного века человек.

В сборнике Общества по изучению Русского Севера Вылко вспоминал позднее: «...Остановились в заливчике Сульменевой горы. День отдыхали, стояли на месте. Русанов ходит, камешки собирает, Санко пимы свои сушит, а я хожу по берегу, горы рисую. Однажды нашел я каменных червей и показал Русанову. Он рассмотрел и сказал: «Очень хорошо. Учить бы тебя надо. Завтра дам тебе молоток и мешочек». Потом я нашел много каменных лимонов. Один лимон я положил в мешочек и показал Русанову. Он сказал: «Ты очень полезный для экспедиции человек». И еще спросил: «Вот эта сопка от уровня моря какой высоты будет?» Я сказал: «Наверное, триста метров будет». Мы поднялись на сопку. Русанов сказал: «Только на два метра ошибся. Молодец. Теперь всегда буду тебе верить».

...Но вот полное приключений плавание, когда путешественники едва не погибли, застигнутые штормом, закончилось. Все обошлось благополучно. И по возвращении было решено совершить переход через Новую Землю к Карскому морю, который и был намечен на двенадцатое августа.

Сборы оказались долгими. Из двадцати восьми собак три были съедены сотоварищами, притом вожаки, а две пропали бесследно. Вылко связал всех собак одной длинной веревкой и, немного подумав, впереди всех поставил маленькую собачку в белых пятнах.

— Этот теперь у меня капитаном будет. Раньше был штурман, теперь капитан. — И засмеялся.

Потом вместе с Санко пошли в шлюпку и всю собачью свору на длинной веревке потащили через прибой. Несмотря на сопротивление и недовольное рычание, собак свалили в кучу на носу шлюпки. Как заметили члены экспедиции, ненцы с собаками особенно не церемонились. И хотя отправлялись в трудное путешествие, покормить их не позаботились. Илья хватал собак за шиворот и говорил: «Кормить не нужно».— «Почему?» — спрашивал начальник экспедиции Крамер. «Сыты будут — худо вести себя будут».

Переправились через залив, еще раз осмотрели имущество, аккуратно увязали на нарты и по двое впряглись в каждые сани, помогая животным. Ботаник Лоренц, увлекшись ролью, по живости своего характера и сам повизгивал. Илья, высоко натянув нерпичьи пимы, шел в авангарде, разыскивая брод. Он только изредка оборачивался, когда в упряжке начиналась заваруха. Это Пайды, большой белый пес с коричневыми пятнами, вечно недовольный своей жизнью, кусал товарищей по упряжке. Вылко уже не раз ударял его хореем, но, видно, учеба не пошла впрок. Заслышав снова шум, Вылко останавливался и укоризненно говорил собаке: «Ой, Пайды, Пайды! Тебе опять надо морда набок делать!»

Поход был трудным, и собаки за три дня действительно оголодали. Ночью, когда члены экспедиции спали, они тащили все, что можно: съели пимы у Лоренца, посуду уволокли в скалы и там облизали так, словно вымыли. Да и сами путешественники были голодны. Но вот Санко убил оленя. Развели громадный костер, но сначала по примеру ненцев все ели мясо сырым и пили кровь, потом жарили шашлыки на запасных санных полозьях, а Русанов на крышке от конфетной коробки приготовил жареную оленину с картофелем. И это был праздник.

Потом двое суток лил дождь. Все лежали в палатке, не показывая носа. И однажды Илья затянул самоедскую песню. Он пел ее заунывно, не повышая голоса, призакрыв глаза. И под шум дождя, что барабанил в шкуры чума, под тихий свист ветра, что пробивался в дыры, эта песня была особенно грустной и настраивала на размышления. Когда ненец кончил петь, Вылко спросили, что он пел. Илья ответил:

— Сказка... Песня про смерть называется.

Но переводить долго отказывался, едва уговорили. А дождь все лил и лил. Но под вечер Илья, высунув из полога лицо, посмотрел в небо и сказал:

— Скоро будет снег и мороз, скоро зима.

И в самом деле, на следующее утро всех разбудил Илья:

— Сарю янгу — дождя нет, — улыбаясь во весь рот, объявил он.

Все вылезли из чума, словно медведи. Действитель-

но, так надоевший дождь ушел в сторону океана. После быстрого завтрака опять вместе с собаками впряглись в нарты и направились к перевалу. Эти горы еще никогда не слыхали русского голоса.

...На следующее лето судно «Дмитрий Солунский», на котором начальником экспедиции был Владимир Русанов, опять пришвартовалось у становища Маточкин Шар лишь с той целью, чтобы забрать проводником Илью Вылко. В этот раз Русанов решил обогнуть самую северную оконечность Новой Земли. До него этим путем прошли великий мореплаватель Баренц и помор Савва Лошкин. Русанов обогнул Новую Землю, а, отплывая обратно в Архангельск из Маточкина Шара, зашел в чум Константина Вылко. Они долго пили чай, вели беседу, где и решили окончательно, что на этом судне Илья поедет учиться в Москву.

В Архангельске Вылко жил вместе с Русановым, и все ему было дивным в этом городе. Однажды остановила вывеска «Чары». Русанов объяснил, что это электротеатр, тут показывают живые картины. Но Вылко не хотел верить и на другой день сам пошел смотреть и убедился, как «картины ходят по стене».

А потом поехали в Москву. Она ошеломила Илью: «Вышли из вагона, ой, народа много. Город очень красивый, какая-то машина катит без лошади, мы сели в нее, я и боюсь. Красиво-красиво стал говорить Русанов».

В Москве Русанов отыскал художника Переплетчикова, и ненец стал жить у него.

* * *

«...Осенью 1910 года пришли ко мне два незнакомых человека: один высокий, блондин, другой — низенький, коренастый, с лицом монгольского типа. Это были начальник новоземельской экспедиции Владимир Александрович Русанов и Илья Вылко, который приехал в Москву учиться живописи. Одет он в пиджак, от него пахнет новыми сапогами, и когда он ходит, то стучит по полу ногами, как лошадь на театральной сцене. «Это живая карта Новой Земли,— сказал Русанов.— Человек он смелый, отважный, решительный, отличный стрелок, бьет гуся пулей на лету».

(Из воспоминаний Василия Переплетчикова)

Вечером того же дня Переплетчиков уехал на заседание, а Вылко остался ночевать в мастерской на диване. Когда художник возвращался домой, то увидал, что во дворе противоположного дома горит дровяной сарай. Вбежал в квартиру, по окнам бегают тревожные отблески огня, а на диване, свернувшись калачиком, лежит Илья и не спит. Около ног, на полу, все его имущество в узелке: это на случай, если загорится мастерская.

— Ты чего не спишь? — спросил Переплетчиков у Вылко, поймав его испуганный взгляд. Вылко быстро поднялся с дивана, в непроницаемых глазах его видна была настоящая тревога.

— А у нас на Новой Земле такого огня не бывает.

...С городом Вылко ознакомился быстро. На трамвае на уроки ездил один. Он был полон непосредственности и чистосердечия. Если Илья не заставал учительницу дома, то в ожидании ее ложился на кровать и засыпал, потому как в ненецких обычаях заходить в чужой чум, как в свой дом, и, не ожидая приглашения, садиться есть, а потом оставаться на ночлег. Таковы законы ненецкого гостеприимства, где даже в языке отсутствует слово «спасибо».

Вылко сшил себе модный пиджак, купил рубашку с воротником, который был всегда накрахмален, художник Архипов подарил Илье котелок, в руках у него тросточка. В новом наряде он с удовольствием гулял по вечернему городу. Через сорок лет напишет ему дочь Крамера, начальника экспедиции 1909 года: «Помню вашу фигуру в длинном черном пальто с котелком в руке и застенчивую вашу улыбку».

Когда Вылко скучал по дому, то рисовал избу отца, снеговые туманные горы, закат и птичьи базары. Краски на его картинах были свежи и необычны. Он рисовал и пел длинную песню о ненецком богатыре Ваули. А по ночам во сне он видел отца и братьев, и от постоянной сердечной тоски страшные видения, похожие на картины «живого кино», навещали его.

Чтобы освободить себя от страхов, Вылко рассказывал художнику:

— Видел во сне, что сам помер. Испугался, жалко стало. Вижу по лестнице народ лезет на небо: начальники лезут, дети лезут, бабы лезут. Долез я доверху,

а мне и говорят: «Куда лезешь? Ты еще не помер, после полезешь». Я обрадовался, назад полез. Насилу до земли добрался: народ шибко наверх лезет, не пускает. Очень рад был, что не помер...

Но постепенно тоска по родине все реже и реже навещала его. Красочная Москва закружила его по музеям и театрам. Ему очень нравилась музыка, особенно оперная. Через много лет Михайлов-Доронович напомнит: «Помню, как в Москве провожали вас на вокзале и как грустно было вам расставаться с музыкой... Накануне вы были в опере Большого театра, помните?»

В эту зиму Вылко много рисовал, его картины выставлялись и расходились по частным собраниям: любителей живописи привлекала в картинах свежесть восприятия мира, а зрителей — необычность самого случая. Ведь слово «ненец», что в переводе означает — человек, для России было еще незнакомо. Сведения о ненцах для многих сводились лишь к тому, что в ледяной стране живут «не люди — не звери», а один из них даже рисует. В газетах того времени можно было прочитать о Вылко: «Что ожидает этого талантливого дикаря-художника — трудно сказать. Может быть, талант его, как занесенная ветром искра, едва вспыхнув, тотчас и погаснет, исчезнет без следа. Пятидесятиградусные морозы, стодневные ночи и девятимесячная оторванность от родины, от живого мира — едва ли много дадут пищи этому робко вспыхнувшему огоньку».

Пока Вылко учился в Москве, где-то за тысячи километров зрела роковая беда. Погиб его двоюродный брат. И все вернулось «на круги своя»: маленькая песчинка, чудом слетевшая с узаконенной орбиты, была поставлена на место. А сколько таких искр, даже не превратившихся в огонь, было безжалостно потушено в холодных просторах тундры!

И потом, когда на Новую Землю придет Советская власть и Илья Вылко станет первым председателем островного Совета, он соберет ненцев-колонистов из всех становищ и, как мудрый старейшина, скажет так своим соплеменникам: «Мы живем в темноте. Со всех сторон стены, а окошек нет. Наши ребятишки не видят солнца. Надо рубить стены, окошки делать».

В доме из плавника было неказисто и серо, январский свет едва пробивался в заснеженные окна. Гости

из становищ подумали: с председателем что-то неладно, если он хочет ломать такие прочные стены, которые защищают людей от ветра.

— Неправильно говоришь, Вылко! — закричали они. — Окошки есть. Разве сам не видишь? Не надо стены рубить.

Но не засмеялся в ответ Вылко на людскую непонятливость. Он был в далекой Москве, он ездил на шумной железной машине, он говорил с хорошими людьми, и его слушали — так пусть же и другие дети из старых чумов приедут в большой деревянный дом и будут знать столько же, а может быть, и больше его.

И сказал тогда Вылко:

— Наша темнота — это неграмотность. Ученье — это школа. Рубить стены — это строить школу-интернат.

Задумались ненцы, а подумав, согласились:

— Ладно, ты правильно говоришь, Вылко!

Поговорили и разошлись. Был председатель островного Совета, остался ненец-охотник, которому нужно кормить большую семью и вечно голодных собак. Пошел к припаю караулить тюленя.

Уже светало, когда убил лысуна. Скорее спустил лодку. Ветер сильный гонит в море. Сидит Вылко на корме, песню поет: «Море родное люблю, Карское море люблю. Много в море нерпей, много в нем и моржей».

Лодка споро идет, но и тюленя ветром относит. Все же поймал его за морду, привязал к лодке, грести стал. Час ехал, другой — руки просто отваливаются, и страх в душу заползает: от берега все дальше относит. Нагнулся, ножом ремень с тюленем отрезал — сейчас легче плыть, но все равно ходу нет. В голове одна только мысль: как выбраться отсюда. Не думал Вылко, что волны будут такие сердитые.

«Я никогда так не пугался,—запишет позднее в своем дневнике Тыко Вылко.— Промысел нелегко одному доставать. Можно без вести потеряться».

...Еще сильнее нажал Илья на весла, так что пузыри на ладонях лопнули, вскрикнул от боли. Добрался до припая, на четвереньках выполз, на льду долго лежал, отходил. Страшно одному в море.

И вот случилось через год (это было в двадцать девятом), пригласили Илью в Москву на заседание Комитета народов Севера. Приехал он, а его никто не встре-

чает. Куда ехать — неизвестно. Вот и догадался Илья повесить на грудь бумажку с надписью: «Я Вылко»: мол, если кому нужен, то догадаются. А чемоданчик он машинально у груди держит. Идет народ и на этот чемоданчик кто пятак, кто три копейки положит. Что такое? Председатель Совета, а ему милостыню подают. Потом понял, что так чемоданчик держать негоже. Тут и нашел его работник ВЦИК.

Приехали к Калинину. Тот сидит за столом в простенькой рубашке, и подпоясана та рубашка узеньким кожаным ремешком. Увидал Михаил Иванович ненца, заулыбался, навстречу идет:

— А, здравствуйте, президент Новой Земли.

Так с легкой руки Калинина стали Илью Константиновича величать президентом.

Вылко тоже не растерялся, поклонился и сказал:

— Здравствуй, Михаил Иванович, великий человек.

— Почему вы, товарищ Вылко, назвали меня великим человеком?

— Потому что избрал тебя великий народ.

Тут и направилась у них беседа. И тогда Калинин сказал Вылко:

— Никогда не отрывайтесь от народа.

Вернулся Вылко домой светлый и радостный, словно крылья заимел. Подарок привез: моторные катера и снасти. Тогда и артель создали, потому как одному от голода не убежать, одного и собственная тень караулит.

В тридцать первом году Комитет Севера и ВЦИК пригласили Илью Вылко в Москву с отчетом. Поехал он туда в специальном служебном вагоне крайисполкома. Приехал в Москву с большой сумкой-котомкой, где был солидный запас свежепросольного гольца. В столице председатель Комитета Севера Петр Гермогенович Смидович повез его к себе домой и беседовал с Вылко за чаем. Илью Константиновича удивило, что Смидович пьет чай вприкуску, доставая из сахарницы мелко колотые кусочки сахара. Петр Гермогенович рассмеялся и объяснил:

— Привычка. В ссылке скудно жилось, чай приходилось нередко вприглядку пить. Вот и привык, и мне кажется, так вкуснее.

В свободное от посещений учреждений время Вылко ходил по магазинам: накупил много подарков, массу

книг с картинками, объяснив, что ненцы читать мало умеют, но все любят смотреть картинки.

Еще много лет жил Вылко на острове. Он дождался того времени, когда неузнаваемо изменилась тундра, исчезли из ее жизни шаманы, забыто было слово «самоед» и, как желал того Илья Константинович, появились свои ненецкие учителя и инженеры, врачи и мотористы. И сам он немало для этого сделал. Только на семидесятом году жизни, после тридцати лет президентства на Новой Земле, переехал Вылко на жительство в Архангельск.

Теперь картины приходилось писать по памяти. Но разве можно забыть те горы, которые стояли перед твоим взором семьдесят лет? Почетным был юбилей Ильи Вылко. Наградили его вторым орденом, письма и телеграммы шли со всего Советского Союза, о Вылко писали все центральные газеты.

...Но кончается любая книга жизни. И пусть она по моей вине была очень краткой, но хочется напомнить самую последнюю ее страничку. Итак, шел девятьсот шестидесятый год...

Вылко пришел к своим друзьям в водорослевую лабораторию. Пришел и сказал:

— Я пришел проститься.

Ксения Петровна Гемп, давний друг Вылко, спросила:

— Куда же вы собрались, Илья Константинович?

Вылко ответил:

— Сначала в больницу, а потом, наверное, дальше.

Со всеми за ручку простился и низко кланялся. Потом, уже из больницы, написал Гемп: «Уважаемая Ксения Петровна, пришлите мне стихотворение Лермонтова «Белеет парус одинокий» и «Памятник» Пушкина. Я переведу их на ненецкий язык».

И он перевел эти стихи...

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Владимирович Личутин

БЕЛАЯ ГОРНИЦА

Редактор
В. К. Лиханова
Художественный редактор
В. С. Вежливцев
Технический редактор
Н. Б. Буйновская
Корректоры М. М. Михайлова,
Л. А. Фонтейнес.

Сдано в произв. 15/II 1973 г.
Подп. в печать 16/V 1973 г.
Форм. бум. 84×108¹/₃₂ (бумага типограф. № 1). Физ. печ. л. 5,5.
Усл. печ. л. 9,24. Уч.-изд. л. 8,94.
Тираж 15 000. Сл. 00490.
Заказ № 1459. Цена 39 коп.
Северо-Западное книжное издательство,
Архангельск, пр. П. Виноградова, 49,
Типография им. Склепина,
Архангельск, набережная
В. И. Ленина, 86.